

Кир Булычев

Операция «Гадюка»



Театр теней

Кир Булычев

Операция «Гадюка»

«ЭКСМО»

2000

Булычев К.

Операция «Гадюка» / К. Булычев — «Эксмо», 2000 — (Театр теней)

ISBN 5-699-13105-1

Причудливое переплетение реального и фантастического, печального и смешного, свободный полет воображения и неподражаемые сюжетные повороты – вот лишь немногое из того, что сделало Кира Булычева одним из самых популярных и любимых отечественных фантастов. Приключения археолога и космического пришельца Гарика Гагарина продолжаются... Обитатели Мира, где время остановилось, а смерти нет, по-прежнему живее всех живых и начинают действовать... Загадочный и безалаберный Институт экспертизы готов к новым славным свершениям... Операция «Гадюка» начинается!

ISBN 5-699-13105-1

© Булычев К., 2000
© Эксмо, 2000

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	18
Глава 3	36
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Кир Булычев

Операция «Гадюка»

Глава 1

Лаврентий Берия

Под камеру переделали один из бункеров связи центра ПВО Москвы.

Но коридор, в который выходили помещения бункера, получился тюремным, как будто создатели его заранее предусмотрели, что тут будет камера смертника.

Судьи еще оставались в зале суда – тоже помещении бункера, но этажом ниже. Когда приговор был оглашен, Лаврентия Павловича Берии повели обратно в камеру. Он почему-то думал, что его расстреляют тут же, не возвращая в камеру. Зачем тратить время? Ведь приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Лаврентием Павловичем в тот момент владело возмущение несправедливостью приговора. «Убейте меня за то, что верно служил партии! Убейте в моем лице совесть партии и признайте: да, мы отказываемся от высокого звания коммунистов, потому что решили предать смерти настоящего ленинца. Но какое вы имели право называть меня дашнакским агентом? Шпионом, нечестным человеком? Я не могу умереть с таким пятном на моей репутации!»

Он пытался сказать это тупым генералам, которые сидели в ряд за канцелярским столом и старались не встречаться с ним глазами, но генералы боялись его слушать – они были охвачены страхом не только перед своими новыми хозяевами, но и перед подсудимым.

Ненавида этих ничтожных судей, Берия улавливал их страх, и потому, когда его повели обратно в камеру, он вдруг ощутил приближение надежды. Не все так просто – с ним хотят разделаться от страха. Его хотят убить. Но этот же страх может ему помочь.

Против него одного, невысокого, скромного, обыкновенного на вид человека, поднялась вся карательная машина государства. Это Голиаф. Он же – Давид.

Известно, чем закончится тот поединок.

Притом Берия знал секрет, которым не поделился бы с этими хрущевыми ни под какими пытками. Он отправлял доверенного человека в Тибет, в город Шамбалу, и тот привез ему гороскоп. В гороскопе было написано, что планеты предсказывают ему жизнь до конца XX века. Все эти предсказания были нарисованы каллиграфически на местном тибетском языке с английским переводом. Сомнений никаких не было – Лаврентию Павловичу суждено скончаться в 2000 году, точнее – в 1998-м, а тогда, при получении гороскопа, шел сорок шестой. Сомнения оставались, доверенного человека всерьез допрашивали, он поручил это Кобулову. Кобулов поклялся, что документ настоящий. Лаврентий Павлович тогда громко закашлялся, принялся протирать пенсне, чтобы не показать радости, охватившей его. Не зря он расколол гитлеровских астрологов: у тех были связи на Востоке.

Конечно, Лаврентий Павлович был настоящим коммунистом, атеистом, интернационалистом, можно сказать. Но есть вещи выше, чем атеизм, это каждый умный человек понимает, хотя признаваться в этом нельзя, потому что существуют простые люди, так называемый народ, которому не следует морочить голову – в голове должна быть только одна религия. Когда его приговорили к смерти, в глазах встало воспоминание: желтый пергаментный документ, машинописный перевод с английского на русский, пришипленный скрепкой – так обыкновенно.

«Вы можете приговаривать меня к любой казни, – сказал он себе. – Но вам до меня не добраться».

Когда за ним затворили дверь камеры, а не повели сразу на расстрел, Лаврентий Павлович чуть-чуть успокоился. Вернее всего, несколько часов в запасе у него есть.

Как – несколько часов?

А гороскоп?

Утешение бывает мгновенным – нельзя утешаться долго. «Ведь ты сам казнил стольких людей, что не имеешь права утешаться… Но ты и миловал. Значит, и тебя могут помиловать».

И Берия стал думать, как оттянуть казнь, – гороскоп гороскопом, но как ее оттянуть?

Часы у него отобрали. Камера была подземной – в окно не выглянешь, не поймешь, когда наступит вечер.

А что сейчас? Они же могли устроить заседание трибунала и глубокой ночью – с них станется.

Под потолком лампочка, забранная в решетчатую клетку, – ему все равно не достать. Но в этом порядок… а вот по полу бежит таракан – беспорядок. При нем в тюрьмах такого не допускали. Он лично распоряжался, чтобы дезинфекция тюремных помещений была абсолютно эффективной. Когда-то при нем Ягода пошутил, что заключенные ловят тараканов, чтобы их жрать. Лаврентий Павлович, когда пришел к власти, все эти тараканы дела прекратил. Таких шуток не бывает. И все наスマрку – таракан пробежал по неровному цементному полу и скрылся под койкой. А Лаврентий Павлович не то чтобы боялся тараканов, но испытывал к ним отвращение. Это бывает даже с очень отважными людьми. Он поднялся и пошел к двери: хотел вызвать надзирателя, чтобы указать ему на недопустимость, но тут же опомнился (как можно быть таким рассеянным!) – с соседней койки вскочил армейский майор. Он сидел там и смотрел на Берию. Осужденного ни на секунду не оставляли одного. А он забыл об этом.

– Тараканы, – сказал он. – Грязь развели.

Майор посмотрел на него, но отвечать не стал. У офицеров, дежуривших в камере, было строгое указание не разговаривать с преступником.

Берия возвратился на свою койку. Для него сделали облегчение, разрешили лежать – сам он был против того, чтобы заключенные днем валялись на койках: распускаются и излишне отдыхают. А лишний отдых для преступника – лишние заботы и усилия для следователя… Вот куда уходят мысли в последние часы жизни. Или минуты? А о чем думать?

И тут они стали открывать дверь.

За ним пришли.

Он хотел закричать – что-то убедительное хотел закричать, о чем молчал на допросах и на суде.

Кому какое дело до Тибета? Здесь офицеры. В армии его никогда не любили, а он сделал ошибку: противопоставил себя армии, убедил себя, поддался убеждениям Хозяина – армия в России всегда будет подчиняться Госбезопасности. У нас нет настоящих бонапартов. А тех, что были, мы ликвидировали.

А ведь Лаврентию Павловичу приходилось читать о военных заговорах. Елизавету и Екатерину возвели на трон солдаты. Но поверил Хозяину. Потому что то были феодальные, империалистические армии, а наша армия – это армия страны, которая строит социализм.

Он кинулся в угол, подальше от двери, он искал руками – за что схватиться, когда будут уводить. Движения рук были бессознательными – разум в том не участвовал: ну кому удавалось удержаться в камере, если тебя выводят на расстрел? Скажи это ему в нормальной обстановке – начал бы хототать. Именно хототать.

Вошел Москаленко, в форме, встал у двери. Еще какой-то генерал, незнакомый. Может, это хороший знак?

– Выходите, – сказал Москаленко.

– Нет, – сказал Берия. Он старался говорить убедительно и спокойно. Это не удавалось. Получился крик. – Нет, я буду жаловаться! Я прошу дать мне возможность... написать объяснительную записку в ЦК.

– Выходите, – повторил Москаленко.

«Он – садист. Он знает, что я останусь жив. Он будет меня мучить перед смертью».

Офицер, дежуривший в камере, толкнул Берию в спину, Москаленко отстранился, чтобы не коснуться Лаврентия Павловича. И получилось так, что Берия очутился в коридоре, а новый толчок в спину заставил его зашагать вперед.

Они шли по коридору, в шаровых стенах таились глухие стальные двери, под ногами – цементный пол. Чудно думать, что он сам принимал когда-то новый центр управления ПВО.

Конечно, это была здравая мысль. Они боялись, что честные коммунисты и работники Государственной безопасности поднимутся на защиту своего руководителя и освободят его. Остались же на свободе его верные товарищи, помощники, командиры дивизий и особых отрядов... А эти заговорщики упрятали его в подземелье; может быть, его сейчас ищут друзья, врываются в тюрьмы и лагеря. А его нигде нет. Нигде нет – время уходит, в любой момент маршала могут расстрелять. Вы знаете, что я маршал? Что я – старший по званию? Нет, говорит Жуков. А он рад его растерзать – ведь попался голубчик на грабеже, где твои вагоны с награбленным добром? Нет, говорит Жуков, твой чин липовый. Ты никогда не был близко от фронта. Это неправда, потому что ценность маршала определяется пользой Родине. И еще неизвестно, победили бы вы, военные, если бы мы не очистили страну от всякой нечисти, перед тем как вступить в войну.

«Ну почему мои мысли убегают в сторону? Я должен сосредоточиться! Сейчас от моего слова может зависеть моя жизнь. Пока я не расстрелян, я жив...»

Одна из дверей сбоку открылась.

За ней небольшой тамбур, где стоит лейтенант.

Нет, это не расстрельная. Нет.

Москаленко и другой генерал остаются снаружи, в коридоре.

Офицер открывает внутреннюю дверь.

Дверь сзади захлопывается.

В комнате, чуть побольше его камеры, стоит стол, точно как у следователя, конторский стол с двумя ящиками.

За столом мирно сидит Никита.

В пиджаке и белой сорочке, но без галстука.

Хрущев кивает.

Берию охватывает слепая радость – тибетские мудрецы врать не будут. Никогда новый главарь государства не будет вызывать к себе смертника только для того, чтобы пожелать ему счастливого пути.

– Ну как? – задает вопрос Хрущев. – Имеются жалобы?

«Глупее ничего не придумаешь. Спрашивать о жалобах у приговоренного к смерти. Но может, это сигнал? Может, дорогие союзнички передрались между собой? А я понадобился?»

– Я протестую, – сказал Лаврентий Павлович. – Ты не представляешь, в каком положении я нахожусь! Мне даже не дают бумаги, чтобы написать жалобу.

– Тебя били? – спросил Никита.

– Почему меня должны бить?

Эта комната была также освещена лампочкой в решетке под потолком. От этого на лысине Хрущева искорками перемещались отражения лампы.

– Вот видишь, – сказал Хрущев. – А при тебе происходили нарушения законности.

– Все дело против меня – это сплошное нарушение социалистической законности. И если мне дадут возможность выступить на ЦК...

— Тебе не дадут такой возможности, — сказал Никита.

И этим словно с размаху ударил по вспыхнувшей надежде. Берия так и застыл с полуоткрытым ртом.

Только через минуту, или чуть поменьше минуты, он произнес:

— Тогда зачем вызывал меня?

Он хотел сказать — пригласил, но испуганные губы не сказали этого слова. Они задрожали — глаза Хрущева были холодными, как у взбешенной свиньи.

— Ты все равно приговорен, — сказал Хрущев. — Я хотел с тобой встретиться, чтобы получить твои последние показания.

— Я все сказал.

— Не хорохорься, Лаврентий. Через полчаса будешь в ногах у исполнителя ползать, «Интернационал» петь. А мы будем строить социалистическое будущее. Что ты мне хотел сказать?

— Мне нечего сказать.

— Тогда прощай. Теперь уж совсем прощай. А то я думал, что ты хочешь дать дополнительные показания.

Берия стоял, не двигался, словно ждал, когда войдет конвой.

Никто не входил. В комнате было очень тихо — она была спрятана на много метров под землей. Даже слышно было, как дышит Хрущев — быстро и резко. Берия слышал и свой пульс — почему-то в шее, справа.

Потом пришло озарение. Такое озарение приходит от бога, с неба, оно не придумывается в голове.

— Если бы партия дала мне возможность, я бы дал показания на деятельность некоторых руководителей нашего государства. Я не давал этих показаний раньше...

— Почему не давал? — Хрущев был настойчив, как охотничья собака, которая взяла след и рванулась с поводка.

— Вопрос стоял о партийной этике, Никита Сергеевич. — Лаврентий Павлович пытался ухватить нужный тон. Именно сейчас решается, правы ли тибетские мудрецы из городка Шамбала.

— Конкретнее.

— Речь шла о моих старых товарищах, много сделавших для партии и государства. Могли я докладывать о них?

— Даже когда речь шла о твоей жизни?

— Я скажу тебе честно, Никита Сергеевич. — Берия дрожал, ему было холодно. Он видел выход, как говорится — свет в конце туннеля, но кто даст ему добежать до этого конца? — Меня бы все равно приговорили. Днем позже, днем раньше. И приговорили бы именно те товарищи, которые сегодня узурпировали власть в стране и боятся меня хуже смерти.

— Конкретно. Кто конкретно?

«А теперь не спиши, Лаврентий. Теперь пойми, что ставка — твоя собственная жизнь. Ты должен назвать имена главных и самых опасных соперников Никиты. Не тех, кого в самом деле надо считать его соперниками, а тех, кого он больше всего боится».

— Я предпочел бы изложить свои соображения в письменной форме, — решился Берия. — Мне нужно время, чтобы все вспомнить и сформулировать.

— Нет у тебя такого времени, — сказал Никита. — Нет времени. Ты приговорен. Уже сейчас... — Никита посмотрел на ручные часы. Берия заметил, что они показывают двадцать минут восьмого. Вечера? Утра? А так ли это важно? — Уже сейчас ты живешь взаймы. Ты расстрелян. И весь Союз будет знать, что ты уже расстрелян. Так что говори, караул ждет.

Берия глубоко вздохнул.

Теперь он в своей обстановке. Это своя игра, и тут у Хрущева нет особых преимуществ.

– Все! – взбесился Хрущев, словно его укусила гадюка. – Ты мертвец! Врал ты все, не знаешь ничего нового.

– Я знаю, – просто и доверительно ответил Берия. Только акцент у него стал еще тяжелее, чем в начале беседы. – Я знаю очень много.

– Где эти документы?

– Не документы. Зачем мне документы-мокументы? Я в голове все держу.

– Выбьем!

– Вряд ли, – сказал Берия. – Что ты выбьешь?

– Все!

– А если отвяжешься от меня, дашь мне время и возможность, получишь не только фамилии – ты получишь иностранные связи, ты получишь шпионскую сеть, ты получишь заговор против самого себя. Все будет на столе.

– Торгуешься? – Хрущев вытащил гребешок – маленький, пластмассовый, дешевый – и стал нервно причесывать лысину. – Не выйдет. Ты мертвец!

– Не надо было звать меня, – сказал Берия.

Хрущев засунул гребешок в верхний карман пиджака, будто успокоился, причесавшись.

– Все же скажи фамилии, – сказал он спокойнее, ровнее.

– Близкие к тебе люди, Никита Сергеевич.

Тон был правильным. И даже сочетание второго лица с отчеством.

– Фамилии!

– Мне нужно будет немного, – сказал Берия. – Мне нужно будет… можно я сяду?

– Ноги дрожать устали?

– А тебя, Никита Сергеевич, приговаривали к смерти?

– Думаю, если бы не Хозяин, ты бы меня давно убрал.

– Были на тебя материалы, – признался Берия с товарищеской искренностью. – Серьезные материалы.

– Какие же?

– О репрессиях на Украине, о процессах в Москве, твое письмо Хозяину по Бухарину…

– Стой!

«Дурак я, старый дурак, – подумал Берия. – Об этом говорить нельзя! Неужели я все погубил? Именно сейчас, когда блеснула надежда?»

Хрущев молчал.

– Ты боишься, сволочь, – сказал он наконец.

Берия сдержался от естественного и правдивого ответа: «И ты ненамного лучше меня, Никита».

Вместо этого он произнес:

– Я не дал хода делу.

– А кто тебя просил об этом?

– Многие просили. Включая Хозяина.

– И что же тебя остановило?

– Сегодняшний день. Я допускал, что он может прийти. И тогда ты мне будешь нужен как друг. А не как злобный враг.

– Мудришь и крутишь. Ты не выносил соперников.

И опять Берия подавил в себе фразу: «Ты мне не соперник».

Тем более что фраза в конечном счете прозвучала бы глупо – приговоренный к смерти не критикует своего палача.

– Я все документы уничтожил. Почти все…

– И про других документы уничтожил?

Идет торговля. Ну что ж, украинский куркуль, выстоишь ли ты против мингрельского рыцаря?

– Теперь уже все равно, – вздохнул Лаврентий Павлович.

– Почему все равно? Для партии это не все равно.

– Я – человек конченый, я разоружился перед партией, но партия меня отвергла, Никита Сергеевич, ты же знаешь.

– Сам виноват. Значит, не разоружился.

«Каждая минута, – говорил себе Лаврентий Павлович, – каждая секунда разговора увеличивает мои шансы». Он знал этот закон: если разбойник с тобой разговаривает, а не стреляет сразу, дай ему говорить.

– Послушай, Никита Сергеевич, – сказал Лаврентий Павлович, стараясь отыскать нужный тон – не наглый, не просящий. Тон собеседника. Не то чтобы совсем равного – это может рассердить, но и не униженно просящего. – Ты лучше всех знаешь, что мое положение в Политбюро позволяло мне узнавать о некоторых событиях раньше, чем их участники.

Никита не улыбнулся. Но и не оборвал его.

– Кое-что я прятал в сейфе, кое-что докладывал Иосифу Виссарионовичу. Но были такие вещи, которые я мог докладывать только сюда. – Он постучал себя по виску костяшками пальцев.

– Значит, мы правильно сделали, – вдруг заговорил Хрущев, – что тебя уничтожили. Пока ты живой, от тебя всегда может исходить клевета, яд, вонючая каша.

– Ну уж вонючая каша! – Слово было противно Лаврентию Павловичу. Оно звучало плохо и несправедливо. – Зачем словами бросаться? Мы взрослые люди, руководители великой державы…

– Помолчи, – оборвал его Хрущев.

«Я совершил ошибку? Я не так сказал? Но в чем? В чем моя ошибка?»

Он даже не удержался, обернулся, кинул взгляд на закрытую дверь.

Никита хмыкнул. Он почувствовал страх Берии, и страх ему был приятен.

Хрущев рассердился на самом деле из-за того, что сообразил, как неправильно ведет себя: дал уцепиться Берии за кончик веревочки, и тот, придя сюда как приговоренный, через десять минут посмел назвать себя руководителем державы. И Хрущев понял, что никогда, ни при каких обстоятельствах не выпустит Берию на свободу, не оставит в живых. На свободе он обязательно отыщет способ отомстить… одному из них на свете не жить.

Но это не означает, что не следует выжать из Лаврентия все, до последней капли. До этой минуты Лаврентий давал показания на гласном суде, где имел возможность и желание, даже под угрозой смерти, таить важные и, может, решающие для СССР факты. Надо это изменить.

– Лаврентий Павлович, – сказал Хрущев, – ты приговорен к смерти, я ничего не могу тебе обещать. Уж очень велики твои преступления перед партией и народом. Но я полагаю, что тебя еще рано казнить. Ты еще можешь пригодиться партии.

Никита Сергеевич сделал паузу, и Берия нарушил ее:

– Я готов выполнить любое задание партии.

– Да помолчи ты, не во вражеский тыл с бомбой посыпаем. Задание твое – остаться в этом подвале.

– Зачем?

– Чтобы окончательно разоружиться… Потому что сейчас ты даже смерти недостоин.

– Я готов, – поспешил сказать Берия.

– Мне интересно узнать, – Хрущев проговорился, нарушив правило – говорить только от имени партии, – в какие отношения вступали за спиной у партии некоторые члены Политбюро, какой заговор они готовили… если, конечно, они готовили какой-нибудь заговор.

– Кого именно ты имеешь в виду, Никита Сергеевич?

– А ты подумай, кто замышлял, кто устраивал заговоры, ты скажи всю правду партии. И если в наших рядах есть невиновные, то на них не следует напраслину возводить. Ни в коем случае. Меня интересует только объективная информация. Мы, как ты знаешь, решили восстановить ленинские нормы партийной и общественной жизни.

– Я сам настаивал...

– Помолчи. И поэтому совершенно недопустимы наговоры на верных сынов и дочерей нашей партии. За это мы будем беспощадно карать, товарищ Берия.

Что за оговорка!

– Но если вы знаете нечто важное, государственно важное, то придется вам об этом рассказать. Понял?

Хрущев поглядел в глаза Берии – получилось неубедительно: Хрущеву не удалось вогнать себя в истинно гневное состояние.

– Как конкретно, понимаешь... это делать будем? – спросил Берия.

– Конкретно – сядешь и напишешь. И не то, что в бумаженциях, – это мы уже изучили. Конкретно, по именам, никого не жалей. И если знаешь что обо мне – пиши, говори, невзирая, понимаешь?

– А мне бумаги не дают, – сказал Берия. Это был не самый умный ответ, даже глупый, но Хрущеву он понравился.

– Значит, так, – сказал он. – Ты расстрелян, Лаврентий Павлович. Казнен по приговору суда.

Хрущев посмотрел на большие наручные часы.

– Полчаса назад расстрелян. Труп твой, как понимаешь, кинули собакам.

– А вот это недопустимо! – почему-то вырвалось у Лаврентия Павловича. Хотя в той ситуации метод расправы с телом не играл решающей роли.

– Удивительный ты человек, Лаврентий, – сказал Хрущев. – Какие могут быть запросы?

– Я – грузин, Никита Сергеевич. Для нас, жителей Кавказа, надругательство над телом мертвого врага – позор для убийцы!

– А значит, ты никогда... ни разу? Все твои враги похоронены под оркестр на Новодевичьем кладбище?

«Он еще улыбается! Ну, я до тебя доберусь, сука!»

Берия отвел глаза – они его выдают. Но теперь он знал: тибетские мудрецы не соврали – он выберется отсюда, он еще покажет этому хохлацкому недоумку!

– Молчишь? Ну и правильно делаешь. Кавказец нашелся! Да твое имя на Кавказе будет проклятием!

– Врешь! Я национальный герой грузинского народа!

– Я тебе больше скажу. Твои грузины, конечно, нуждаются в святом, в пророке. Так они пророком Сталина сделают. Молиться ему будут, тело его из нашего Мавзолея к себе в Гори утащат, будут там шахсей-вахсей вокруг танцевать!

– Это мусульмане – шахсей-вахсей.

– А, все равно, все вы чернозадые.

– Мы христиане.

– Вы христиане? А кто у нас большевик-ленинец, кто у нас интернационалист?

Как тянуло Лаврентия Павловича оборвать эти кощунственные провокационные высказывания. Но надо терпеть. Настоящий великий человек отличается от политического авантюриста тем, что умеет терпеть. И ждет нужного момента, чтобы ударить внезапно и беспощадно. Этому нас учил великий Сталин.

– Сталина твои грузины святым сделают, – повторил Хрущев. – Для того чтобы твое имя с навозом смешать. Так удобнее – есть мерзавец и есть святой. Я тебе точно говорю.

– Я устал, – сказал Берия, – меня ноги не держат.

— Что делать, — вздохнул Хрущев, — второго стула в комнате нет, сам видишь.
— Я на пол сяду, — сказал Берия.

Ему стало все равно. Он уже немолодой человек, он провел много недель в ожидании ужасной несправедливой смерти. Он совершил ошибки в жизни, и его можно критиковать, но за что же его так мучить?

— Ты получишь бумагу и канцелярские принадлежности, — сказал Хрущев. — Ты будешь работать, ты запишешь все, что хранится в твоей голове. Я буду знакомиться с твоими писаниями и, может, даже еще побеседую с тобой. Но теперь учти одну вещь и заруби ее себе на носу: для всего мира, включая нашу партию, включая членов Политбюро, — ты умер. Тебя нет. Ты — горстка пепла в общей могиле. И ты не заслуживаешь иной участи, потому что земля еще не носила такого злодея и убийцу, как ты. В любой момент я могу прекратить эту отсрочку и ликвидировать тебя.

— Зачем мне писать? — Берия переступил с ноги на ногу. Его охватила та тупость, что бывала на экзамене, — становится все равно, только кончайте ваш экзамен, господин учитель.

— Ты будешь писать, — сказал Хрущев. — Потому что, пока ты пишешь, у тебя остается надежда, что я тебя помилую. Или надежда на то, что меня сковырнут дорогие мои товарищи и соратники — знаю я им цену! Ты будешь писать, потому что надеешься, что я использую тебя как союзника — тайного или явного, что ты понадобишься мне как неожиданный свидетель на каком-то еще процессе. Понимаешь?

— Мне приходилось давать такие обещания, — сказал Берия.

— А я тебе не даю обещаний. Я тебе обещаю, что тебя расстреляют, как только ты напишешь последнее слово. Но не пытайся тянуть время. Может, я тебе дам неделю, может, месяц... может, до Нового года. Но я тебя потом расстреляю, потому что кому нужен человек, уже казненный, а?

И Хрущев засмеялся — громко и ненатурально.

Он не вставал, но подал какой-то знак — наверное, под столешницей была кнопка.

Дверь заскрипела, вошел незнакомый капитан.

— Уведите, — сказал Хрущев.

— До свидания, Никита Сергеевич, — сказал Берия.

Хрущев не ответил и не посмотрел на него. Это был плохой знак.

Но ведь человека не убили в день, когда должны были убить.

Новая камера была совсем другой. Правда, тоже без окна.

Койка застелена простынкой — простыней Берия давно не видел. И подушка в наволочке. Откуда-то притащили канцелярский стол без ящиков. Стопка бумаги для пишущей машинки, нелинованная — он сразу попросил линованной, и ему принесли две толстые общие тетради в синих kleenчатых обложках. Писать пришлось карандашами, карандашей было три — если затуплялись, можно позвать, чтобы сменили, — но он рассчитывал так, что трех заточенных карандашей хватало на рабочий день.

Он установил себе рабочий день в четыре часа. Но это не значило, что Лаврентий Павлович строчил не переставая. Он думал. Только приняв решение, писал строчку или две. Он вел себя как поэт, создающий эпическую поэму, — поэт ищет рифмы, старается не выпасть из размера, не нарушить гармонии.

Помимо того, что спешка не входила в планы Лаврентия Павловича, он должен был идти правильным руслом, должен был дать компромат на своих коллег по Политбюро, но сделать это так, чтобы обвинения были серьезными и в то же время не погубили бы его, если Хрущев падет, дверь откроется и в проеме окажется Георгий Максимилианович Маленков.

Лаврентий Павлович решил, что Хрущев его не убьет. Что со временем он будет все нужнее новому вождю: в своей борьбе Хрущев будет вынужден опираться на сведения, находившиеся в светлой голове шефа Госбезопасности. Они станут союзниками.

Беда заключалась в том, что, составляя досье на Маленкова и Молотова – главных врагов, – Берия не знал, что же происходит снаружи. Газет ему, естественно, не давали, радио в «номере» не было. Попытки разговорить охранников ни к чему не приводили. Охраняли его военные – опять военные, но не те, что подчинялись Москаленке и Жукову, а какие-то другие военные. И Берия никак не мог раскусить – кто их шеф. Он знал, что армия, как и партия, также делится на смертельно враждующие кланы, он отлично помнил, как на процессе Тухачевского и Гамарника Сталин разделался с ними руками Блюхера и Егорова, чтобы вскоре на следующем процессе судить Блюхера и Егорова руками следующего поколения маршалов.

Значит, как ни крути – ставку можно делать только на Хрущева.

Его присутствие рядом он ощущал все время – показания, отправленные из камеры, возвращались порой с пометками на полях. Почерк принадлежал Никите. И выражения его: не всегда грамотные, но с чувством.

По этим замечаниям Берия понимал, что Хрущев остается у власти – иначе бы ему и не требовались показания на соратников. И кроме того, он понимал, куда клонит Хрущев, чего ему надо.

Сначала он желал, чтобы основные показания шли против Маленкова. Причем его интересовали не высказывания Маленкова против Хозяина, партии и лично товарища Никиты Сергеевича. Нет, он должен был стать во главе шпионского центра, нужны были связи с США и особенно желательно с Израилем, отношения с которым испортились еще при Иосифе Виссарионовиче, когда начали громить врачей-убийц.

Затем – судя по подсчетам Лаврентия Павловича, лишенного даже самого паршивого календарика, к началу декабря – понадобилось включить в заговор и Ворошилова. Чем-то Ворошилов насолил. Но главным руководителем иностранного центра в Москве должен был стать Каганович. Что ж, насолим Лазарю.

Лаврентий Павлович попросил женщину. Пускай она не будет красавицей, но отсутствие женской любви приводит к нарушениям в организме, привыкшем к любовным утехам. Он уже не может логически рассуждать и начинает страдать забывчивостью.

Для того чтобы это пожелание дошло до глаз Никиты, Берия вписал его в качестве отдельного абзаца в общие рассуждения о преступлениях Кагановича.

Бумага возвратилась на следующий день.

На полях возле абзаца было написано очень неприлично.

В общем, отказ в грубой форме и с насмешкой, касающейся грузинского народа в целом. Лаврентий Павлович был взбешен, он поклялся себе, что, когда выйдет на свободу и посадит в клетку этого Хрущева, в первую очередь отрежет ему яйца. Вот именно! И пускай весь народ знает об этом недостатке покойного Никиты Сергеевича.

Когда Хрущев отказался в такой грубой форме прислать женщину, Берия встревожился. Конечно, он утешал себя верой в могущество тибетских астрологов, но астрологи где-то там, а автоматчики здесь. И если Хрущев решит, что надобность в Лаврентии Павловиче миновала, он не постесняется отдать приказ.

Лаврентий Павлович все ждал успешного заговора против Хрущева. Ждал, надеялся и трепетал. Все зависит от того, кто придет к власти. Если те, кем Берия в своих подневольных записках не занимался, не разоблачал, – есть шансы остаться в живых. Но если победит Маленков или, что еще хуже, – Каганович, то все, беспощадно.

Но вроде бы Хрущев укрепляется на троне. Судить об этом Берия мог только по поведению самого Хрущева, то есть по его заметкам на полях рукописи, то есть по интересу к тому или иному сотоварищу. А раз Хрущев укрепился, то ему не нужны подпорки вроде воспоминаний Лаврентия Павловича.

И вот наступил день, когда Берия, сдавши очередную порцию показаний, не получил наутро карандашей и тетрадку.

Утро было самым обыкновенным. Он проснулся от того, что загремел засов. Теперь он в камере жил один, без наблюдателя: не боялись, что он сотворит с собой что-нибудь. Ему даже вернули очки, хотя преступник может очки разбить и разрезать себе вены – такие случаи в практике органов известны.

Пришел капитан, которого Берия называл Колей, хотя неизвестно, настоящее ли это было имя. Может, и настояще. Коля был подобнее Ивана, он иногда разговаривал. Вот и сейчас сказал:

– Доброе утро. Вставайте.

Он поставил на стол поднос, на котором лежал кусок хлеба, стояла миска с кашей и кружка с чаем. На куске хлеба – два кирпичика рафинада.

Не вставая, Берия сказал:

– Сегодня какое?

– Не знаете, что ли?

В тоне капитана возникло человеческое сочувствие. Что это может быть? День Стalinской Конституции? Нет, он прошел. День Рождения Хозяина? Конечно же, день рождения Сталина.

– День рождения Иосифа Виссарионовича? – спросил Берия. Теперь все зависело от того, как откликнется на догадку капитан. А вдруг он свой?

– Чего несете? – Капитан, наоборот, вопреки ожиданию как-то скис, будто Берия сказал неприятное.

– Простите, если я что не так сказал. – Берия слышал просительные интонации в собственном голосе. Это было совсем плохо.

– Новый год завтра, – сказал капитан. – Тридцать первое сегодня. А завтра Новый год. Пятьдесят четвертый.

Капитан поставил поднос на стол и повернулся к двери.

Берия сел на койке.

Что-то было неправильно.

– Стой, – сказал он. – Я же тебе вчера говорил! У меня бумага кончилась. И карандаши. Слышишь? Мне сегодня работать, а у меня бумага кончилась.

– Знаю, – сказал капитан от двери. – Я уже спрашивал. Я говорю, у него бумага кончилась.

– И что?

– Сказали, не нужна ему больше бумага. Не понадобится. Он свое написал.

Берия старался сообразить, что надо сказать, как убедить капитана, что бумагу надо нести. Кончится бумага – его убьют. Пока он так думал, капитан закрыл дверь.

Берия вскочил, побежал к параше. У него и без того было плохо с кишечником, а сегодня – нервы не выдержали – катастрофа.

Он сидел на параше – и не мог встать, чтобы постучать в дверь и вызвать начальника. Доказать ему, что произошла ошибка. И тот поймет, согласится и скажет – да, произошла ошибка.

Завтракать он не смог. Только похлебал чаю.

Он постарался взять себя в руки и думать. Спокойно думать. Если поддашься панике – то погибнешь. Так он уговаривал себя, но его слушал лишь махонький уголочек мозга. Все тело бешено надеялось на спасение, придумывало за него черт знает что – может быть, к примеру, тридцать первого работать здесь не положено, такое в тюрьме внутреннее правило – день отдыха! Конечно же, день отдыха.

«Дурак, – отмечал трезвый уголок в мозгу. – Тебе даже не положено знать, какой сегодня день. Это капитан тебя пожалел. Ведь ты на ноябрьские работал? Работал, давали бумагу...»

Он стал стучать в дверь, но стучал не очень громко.

Глазок открылся.

– Простите, – сказал Лаврентий Павлович, – мне бумагу не принесли.

– Ждите, – ответил бесплотный голос. Но не отказал.

Берия ждал долго, может быть, часа два или три. Он считал про себя секунды, но никак не смог считать ровно – то торопился, то заставлял себя тормозить, считать размеренно.

– Сейчас принесут, – сказал он вслух.

Никто его не слышал. Он был один на этом свете, один на Земле, остальные померли.

И когда он, не выдержав, кинулся к двери, она сама открылась навстречу.

Вошли другой капитан и полковник, здешний начальник, его за эти недели Берия видел мельком и не разговаривал с ним.

– Сдайте очки, – приказал он, – ремень, ботинки.

– Почему? Я ничего плохого не сделал.

– Заключенный номер шестьсот двадцать пять, выполняйте и не заставляйте меня прибегать к мерам физического воздействия.

Берия послушно снял очки, вытащил ремень из брюк.

– А как же я без ботинок пойду? – спросил он вежливо.

– Недалеко идти, – сказал полковник.

– А когда идти?

– Скажут, – ответил полковник. И приказал другому капитану унести нетронутый завтрак.

И когда снова закрылась дверь и он остался без очков, без ботинок – сразу стали мерзнуть ноги, пришлось подобрать их под себя, – им овладело оцепенение. «Проклятые тибетские мудрецы… Никита, как ты поймал меня, Никита! А ведь я должен был с самого начала сообразить, что чем больше я напишу, тем скорее он меня потом прихлопнет. Я знал это, но думал, что обойдется. Все люди так устроены…»

Он закутался в одеяло и сидел нахолившись, порой мелко дрожа, порой забываясь в дреме – спасительный сон старался помочь Лаврентию Павловичу, но был хлипок и рвался, как ветхая марля.

Он не знал, сколько прошло времени и идет ли оно вообще.

Потом пришел капитан, утренний, Коля.

Он принес суп и хлеб. И кружку чая.

– Это обед? – спросил Берия.

– Считайте, ужин. – В капитане не было жестокости. – Я сменяюсь. А вы поспите.

– Вряд ли я высплюсь как следует.

– До утра времени много. Так и с ума сойти можно, – сказал капитан.

– Я был бы рад.

– Ну это вы зря, – сказал капитан. – Надо держаться.

– Сколько до Нового года? – спросил Берия.

– Думаю, успею до дому доехать. Мне на трамвае.

Берия вдруг подумал: «Сейчас я его задушу, переоденусь в его мундир и приеду к нему домой…»

Может, он даже совершил какое-нибудь движение, потому что капитан отпрянул к двери. Взгляд его стал испуганным.

– Вы что? – спросил он из спасительного дверного проема.

– Скажи, сколько сейчас времени, – попросил Берия.

Капитан посмотрел на часы.

– Двадцать один двадцать, – сказал он.

– А когда… за мной придут?

– Назначено на пять ноль-ноль. Но могут проспать. Вы же знаете, что у нас порядка нет.

– При мне порядок был, – жестко ответил Лаврентий Павлович. – Иди.

— С наступающим, — сказал капитан.

Берия не ответил. Он сидел с ногами на койке и не смотрел на капитана. Он и не слышал его.

Капитан ушел, а Берия думал.

Он думал о том, как бы ему не умереть. Он не может умереть. Он слишком много знает о смерти, слишком много видел смертей — ему туда нельзя.

Он был неподвижен.

Полковник, который не пошел встречать Новый год — такой был приказ сверху, и за это ненавидел смертника, — выпивал вместе со своим замполитом в кабинете. Он раза два поднимался, подходил к камере Берии, заглядывал в «глазок». Тот сидел неподвижно, как какой-то абрек на молитве. Глаза у него были закрыты. Может, молился?

Полковник уходил к себе.

А Лаврентий вдруг понял — он с ними не останется!

Он не останется с ними в будущем году, он не будет здесь завтра на рассвете. Он уйдет: он не знал, как уйдет, но главное было — не пропустить момент Нового года — единственный момент, когда можно вырваться из этой жизни.

Его слух приобрел невероятную силу и тонкость.

Он даже различал голос диктора, он даже услышал, как начали бить часы...

«Они не убьют меня...»

Нелепая, а может, и понятная мысль пришла в голову полковника, когда они с замполитом подняли по чарке за здоровье, за родных, за народ.

Он налил в стакан водки и сказал:

— Отнесем ему?

— Ох, рискуешь, Тимофеевич, — сказал замполит.

— Настучишь на меня?

— Нет, Тимофеевич, но с тобой туда не пойду. И знать не хочу, куда ты со стаканом пошел.

— Твое дело партийное, — сказал полковник, положил поверх стакана толстый шмат сала и пошел по коридору к единственной камере в этом каземате.

Возле двери сидел на kortochkaх сержант — из внутренней стражи. Он вскочил.

— Сиди, — сказал ему полковник. — Сейчас я пришлю тебе смену. Утро скоро начнется.

Исполнителя привезут.

Сержант слушал молча.

— Посмотри, — сказал полковник.

Сержант заглянул в «глазок».

Потом выпрямился и сказал:

— Но там тихо было, я как раз перед боем курантов заглядывал.

— Что, мать твою? — Полковник сразу понял, что случилось страшное.

Сержант открыл засов.

Полковник ворвался внутрь.

Камера была пуста.

Он кинул стакан и разбил его об пол и тут же пожалел, что разбил, — надо было выпить.

Потом это спасло его, говорят, от расстрела, потому что следствие не нашло опьянения.

Камера была пуста.

Выйти Берии было некуда, но он вышел. Такова самая большая тайна.

* * *

Все равно его собирались расстрелять на рассвете 1 января 1954 года. А объявили об этом уже несколько месяцев назад.

И никто не стал разбираться.

Когда у нас отправляют в никуда политического деятеля, о нем принято забывать. Попросите перечислить наших президентов, нет, не мальчишку с улицы, а любого доктора наук. Многие из них вспомнят Шверника или Подгорного? Их и через неделю после падения или отставки никто в лица не знал, хотя еще недавно любовались большими портретами во время праздничных демонстраций.

А уж если кого расстреляли, то забыть его – дело чести, доблести и геройства. Ну и конечно, самосохранения.

Кто такой Берия? Не слышал такой фамилии-мамилии! Мало ли какие авантюристы продавались царской охранке или немецкой разведке? Мы-то никому не продавались. Нас никто и не предлагал купить!

Исчез Берия из камеры – и исчез.

Мог бы так же исчезнуть в каком-нибудь другом месте.

Некоторое время беспокоился один человек – Хрущев. Он-то знал, что Берии не расстреляли. Потому опасался, а вдруг Лаврентий Павлович объявится в каком-нибудь неподходящем месте?

Но потом, по прошествии лет, перестал бояться.

Забыл о таком человеке и его странной судьбе.

Мне как-то пришлось попасть в дом, где сохранилось несколько папок и коробок с остатками «дела Берии». Там были свалены в кучу конверты с фотографиями сексуальных партнерш Лаврентия Павловича с заметками полковника Саркисова на обратной стороне, какого числа данная гражданка вступила в половую связь с гражданином Берией и сколько раз в этой связи состояла. Там лежат разорванные пачки от папирос «Север». На обороте – записки Берии прокурору Руденко с просьбой вмешаться и восстановить справедливость. Там много семейных фотографий – Лаврентий с женой и соратником Шариею на пляже, там сложены пачками семейные телеграммы, паспорта и дипломы. Страннейший набор вещей и документов, не уместившихся в обвинительном заключении и недостойных попасть в архив. Хотя порой там встречались бумаги иного звучания. К примеру, письмо Берии Кобулову с просьбой расстрелять к утру следующих граждан…

Глава 2

Лаврентий Берия

Берия потерял сознание. От страха и внутреннего сопротивления тому, что с ним вскоре случится.

Это он понял, когда очнулся.

Потому что был жив.

Но сколько прошло времени после яростного припадка отрицания действительности, он не понял.

Потому что было совершенно темно.

Видно, в камере перегорела лампочка.

Здесь всегда было тихо, до отвращения тихо, – подземная тюрьма! Но сейчас тишина даже давила на уши, такой абсолютной она оказалась.

Сколько времени он был без сознания?

Берия пошарил руками вокруг себя, рядом валялось смятое одеяло. Кровать была холодной. Но в самой камере – не то чтобы совсем холодно и даже не зябко, а подвально. Бывает же в подвале не очень холодно. Но воздух там особенный.

Там пахнет сырой пылью.

Лаврентий Павлович встал на пол. Пол был цементный, холодный, а Лаврентий Павлович был босиком. Почему босиком? Ах да! У него же отобрали перед смертью ботинки!

Берия пошел направо, потому что направо должна быть дверь.

Чуть сбился с пути, ударился ногой о рукоятник, отшатнулся – в темноте трудно расчитывать движения, – задел ногой парашу. К счастью, пустую, она зазвенела, как кастрюля.

Наконец он у двери.

Ощупал пальцами холодную шершавую поверхность. Вот и «глазок». Ни звука, ни движения снаружи, хоть Лаврентий Павлович и приложил ухо к щели. Ему не хотелось стучать в дверь – посетила дикая мысль, что о нем забыли, ушли встречать Новый год и забыли. И может, о нем и не вспомнят больше…

Но тут же он чуть было не засмеялся, трезво оценив такую надежду.

Забыли? В подземелье? И он теперь помрет с голоду, а через двадцать лет будут проводить инвентаризацию секретных объектов и найдут высохший скелет бывшего министра и члена Политбюро…

Никто ничего не забывает.

У нас так не принято.

Значит, что-то случилось. Какое-то ЧП. Может быть, все-таки произошел долгожданный переворот? Но почему тогда его не ищут? А потому не ищут, понял Берия, что никто и не подозревает о том, что он жив. Охрана сбежала, дверь закрыта, объект пустой. Ну кто сюда сунется, особенно если они обесточили подземелье? Как дать знать о себе?

И тогда Лаврентий Павлович решился. Он принял бить кулаком по железной двери, удары были громкими. Но не раскатистыми. Звуки как бы застrevали в темной пустоте.

Ощущение Берия возвратилось в центр камеры и принял водить рукой по столу. Стол был чист. Тогда он наклонился и нашупал табурет – тяжелый и крепкий. Он подошел к двери, прижал табурет сиденьем к животу и принял тыкать ножками в дверь, потом совсем разозлился и стал бить им с размаху, занося над головой, как колун. Звук был громче, но недостаточно, чтобы кто-то услышал.

Берия отбросил табурет и оперся о дверь.

Что-то надо придумать. Он устал. И голова устала думать. Нервный срыв. Все же не мальчик, а над ним так издеваются.

Глаза настолько устали смотреть в кромешную темноту, что в них крутились светящиеся червячки, да и сама голова кружилась – порой казалось, что падаешь, и хотелось одного – лечь и замереть.

Он уже знал – никого в этой тюрьме нет. И не будет.

И ему суждено теперь подохнуть от голода и жажды в этом каменном мешке. И это не плод его больного воображения, это не сон – он может ущипнуть себя, ударить, сделать себе больно…

Он смертельно устал стучать и кричать, биться, как мышь в мышеловке.

Лаврентий Павлович нашупал в темноте койку, натянул на себя одеяло и накрылся им. Телепе не стало – впрочем, ему и раньше не было зябко.

Надо заснуть, думал он. Надо заснуть, потому что тогда появляются шансы на то, что это все приснилось. Вот именно – это страшный сон. А когда он начался? Если он начался вчера, то есть сегодня под Новый год, тогда лучше не просыпаться – а то проснешься от того, что в дверь входят палачи. Может, сон начался, когда его арестовали свои же товарищи по партии, ничем не менее жестокие и уж куда более подлые, чем он.

Тогда тоже не надо просыпаться…

Лежа с головой под солдатским одеялом, Берия понял, что сон как выход из тупика его не устраивает. И даже лучше погибнуть здесь самому в одиночестве, а не от пули какого-то мерзавца.

Время для Лаврентия Павловича перестало существовать.

Пытка, которой его подвергли – а ему виделась в темноте и тишине изысканная пытка злобных врагов, – растянулась в бесконечности. А как человек может определить длительность пытки? Ведь он уже полгода как живет вне времени, не видя дневного света, а в последние дни – часы? – он лишен и света вообще.

Как-то Лаврентию Павловичу доложили, что есть такие специалисты – спелеологи, которые забираются в пещеры и там сидят по несколько дней, чтобы сделать какие-то опыты. Он велел тогда отыскать ему этих спелеологов, чтобы они полазили по подвалам и подземным ходам вокруг Кремля, поискали библиотеку Ивана Грозного. А на самом деле его интересовала не библиотека, а возможность пробраться в Кремль. Потом спелеологов, которые никакой библиотеки не отыскали, зато нашли несколько неучтенных ходов и туннелей, пришлось ликвидировать, чтобы не лазили куда ни попадя. Но образ людей, которые сидят в кромешной тьме, остался неприятным воспоминанием. Неужели и ему придется завершить свой жизненный путь в пещере? Спелеолог вздернутый!

Он никак не мог заснуть. Хотя, конечно, он не был уверен в том, что ни разу не заснул. Все равно глаза закрыты. Или открыты.

Порой он вставал, подходил к двери, стучал в нее, не надеясь услышать ответа. Потом снова лег на койку.

Он сам удивился тому, что не пьет и не ест, но не мучается от жажды и не умирает. Но его и на парашу не тянуло. Одно объяснение приходило на ум: времени прошло мало, слишком мало, только в этой темноте оно кажется длинным. Кажется, и все тут.

Он сходил с ума и отдавал себе в этом отчет. «Я схожу с ума, – говорил он в темноте. – И пускай это произойдет поскорее, потому что я тогда не буду переживать и бояться. А то по мне вчера или позавчера пробежал по груди таракан, и я чуть не умер от неожиданной спазмы страха. А может, и не было таракана?»

Однажды его слуху, невероятно обострившемуся от тишины, показалось, что по коридору кто-то бредет. Шлеп-шлеп – шаги, совсем не военные, домашние шаги.

Берия скатился с койки, побежал к двери. Стал стучать, никто не отозвался.

Он еще стучал. Кто-то подошел к двери и стал возиться с засовом.

– Вы кто? – спросил Лаврентий Павлович.

Тот человек не ответил. И снова стало страшно.

Казалось бы, сколько можно бояться? Разве может быть хуже?

Он отпрянул от двери и кинулся к койке – завернулся в одеяло и сообразил, как оно провоняло.

И тут он услышал, как скрипит засов.

Дверь чуть-чуть приоткрылась.

– Ох! – произнес кто-то.

В голосе было отвращение.

И дверь захлопнулась. А затем послышались уходящие шаги. Кто-то в тапочках или шлепанцах спешил прочь. Испугался.

Чего он испугался?

Своим испугом он снял страх с Лаврентия Павловича.

Берия вновь поднялся с койки, накинул на плечи одеяло и пошел к двери. Только бы тот, который убежал, не закрыл ее вновь на засов.

Нет, дверь – невероятно, но это случилось, – дверь легко поддалась.

За ней была такая же темень, как и внутри. Но совсем другой воздух, настолько другой, что показался отравленным. Берия даже отшатнулся обратно в застойную теплынь камеры. И вдруг понял, отчего сбежал его спаситель, – запах камеры был для него невыносимым.

«Интересно, сколько же прошло времени? Я, как Илья Муромец, тридцать три года сиднем просидел?»

Лаврентий Павлович провел рукой по лицу – бороды не было. Раньше брился каждый день, а порой, если важная встреча, то и вечером еще раз. А сейчас ничего, так, щетина незначительная… Значит, та же ночь.

Куда идти?

Наверное, следом за убежавшим спасителем.

И чего его принесло сюда?

А какое счастье, что принесло, – какая-то случайность, одна миллионная шанса. Но правы тибетские астрологи, правильно вычислили его гороскоп – ему еще жить и жить, он мужчина крепкий, даже одиночное заключение его не сломило.

Лаврентий Павлович пошел по темному коридору, придерживаясь рукой за стену, добрался до лестницы наверх, на четыре пролета. Он еле поднялся, такая одышка, видно, совсем отвыкли ходить мышцы ног. Но когда же будет свет?

А свет начался, когда он поднимался по четвертому пролету.

Он скучно лился из коридора.

Лаврентий Павлович увидел его и возрадовался, словно те самые цыгане, которых вывела из джунглей старуха Изергиль. Он вспомнил, как Горький читал эту сказочку по личной просьбе Хозяина, а тот качал головой и шевелил губами – знал наизусть.

Лаврентий Павлович шел все медленнее, как бы оттягивая момент встречи со светом. Это только в сказках дурачье несется к лампочке, как мотыльки.

Свет выбивался из-под обычновенной двери, из узкой щели.

Лаврентий Павлович постоял, глядя на светлую полоску, потом открыл дверь.

За дверью была обыкновенная служебная комната. Давным-давно пустая, и не потому, что пыльная, хотя и пыль была, а потому, что у нее было такое состояние.

В комнате было окно – совершенно невероятно, но в комнате было окно.

Он подошел к окну. Сердце билось, пропуская удары.

За окном – обширный пустырь, ограниченный железным сетчатым забором. В заборе – приоткрытые ворота.

А там дальше полз редкий, но непрозрачный туман.

Лаврентий Павлович боком сел на подоконник, чтобы не выпускать из виду пейзаж и подходы к объекту.

«Где же люди? – подумал он. – Как давно меня здесь не было».

Наверное, произошла атомная война, которую развязали империалисты, об этом предупреждала разведка, хотя в это ему самому верить не хотелось.

Но может быть, войну устроил Никита? В борьбе за власть – он же оголтелый, неподконтрольный.

Кто бы это ни сделал – все погибли. Так, может быть, если случилась цепная реакция, и сейчас земля заражена. Людей нет, но зараза оставалась.

Лаврентий Павлович вышел в скучный серый вестибюль и выглянул через застекленную дверь наружу. Солнца не видно, низкие облака какого-то осеннего неопределенного цвета. Освещение предвечернее, как бы специально подобрано для ослабевшего зрения.

Холода нет. Скорее – прохладно, и если говорить о температуре воздуха, то ее нет тоже. А когда температуры нет, ты быстро забываешь о ней, о погоде, об освещении.

Радиация, наверное, здесь опасна, но у Лаврентия Павловича не было с собой специального прибора, изобретенного неким Гейгером, позволявшего эту радиацию определить.

Лаврентию Павловичу было приятно осознавать, что память и умение быстро соображать его не покинули, несмотря на длительное заключение. Он перенес это испытание лучше многих других, которые сходили с ума или кончали с собой. Радиация, как он вспомнил, очень опасна в первые минуты, а потом разлетается в стороны. Наверное, большинство людей умерло от первой радиации, а те, кто остался, скрываются в других частях страны, так что вряд ли кому теперь есть дело до бывшего министра.

Но на всякий случай надо придумать себе псевдоним, партийный псевдоним, не в первый же раз приходится это делать. И если сказать, то и в муссаватистской разведке у Лаврентия была кличка. Он числился агентом у полковника Марченко-Алиева, но, естественно, делалось это для разоблачения планов муссаватистского отребья. Затем стало опасно вспоминать о романтическом периоде молодости, потому что Лаврентий Павлович, как орел, высоко взлетел, а внизу множились бескрылые враги. Верный друг Кобулов тогда достал из бакинского архива все его дело – маленькую папочку, и Берия положил его в свой сейф. Где-то теперь эта папочка? То, что ее нашли, сомнений не было: ведь среди обвинений на этом липовом суде была и строка о службе в муссаватистской охранке, и он тогда сказал – да, было, по поручению партии. Они пропустили это мимо ушей. И Руденко пропустил. А ведь еще недавно кричал о своей дружбе. Было же, было?

Выходить наружу Лаврентий Павлович не стал, а решил начать со здания.

Будем исследовать помещение, помня при том, что по крайней мере один человек здесь есть. Нечаянный спаситель Лаврентия Павловича.

– Эй! – негромко произнес Берия.

Гулко отозвалось эхо.

Справа Лаврентий Павлович увидел выгородку, барьерчик, за которым положено сидеть вахтеру.

Он подошел к барьера и заглянул за него.

Опыт не подвел Лаврентия Павловича.

Прижатый толстым стеклом, на столе остался лист бумаги со списком комнат и телефонов. Хотя самого телефона на столе не осталось.

Берия приподнял стекло и вытащил список.

Кабинет директора института был на втором этаже. Лаврентию Павловичу стало любопытно, как можно было позвонить к нему, в тюрьму.

Телефоны были разлинованы по этажам. Второй этаж: директор и заместители. Третий – лаборатории. Четвертый – какие-то кабинеты. Там же бухгалтерия, плановый отдел… Первый этаж – совсем мало телефонов. Значит, не все записаны, даже вахтерам не положено знать.

«Комендатура-1», «Комендатура-2», «Спецкомендатура» – слишком много комендатур для одного института. А что ниже? В подвале? Всего один телефон. «Дежурный». Вот и все. Так и должно быть. При Лаврентии Павловиче тоже придерживались такой системы – если ты прячешь куда-то алмазик, то лучше в кучу стекол такого же размера. И чем меньше народу знает об алмазе, тем лучше.

Он пошел по коридору первого этажа, заглядывая в комнаты.

Странное впечатление оставалось от этих комнат.

Двери всех были открыты или по крайней мере не заперты.

Создавалось впечатление, что, уходя отсюда, люди брали вещи по странной логике. Например, стульев почти нигде не было, а вот столы остались. Ящики их были пусты, хотя в некоторых можно было найти какие-то бланки, книжки для чтения, копирку, ластики, порой записи личного содержания, но ничего, что помогло бы Лаврентию Павловичу понять причины беды.

Зато на столе лежал перекидной календарь.

Вот его изучением Лаврентий Павлович и занялся.

Календарь был за 1953 год. Что и требовалось.

Владелец календаря был человеком аккуратным и не помещал в него секретных или каких-нибудь сомнительных записей.

Но вот 3 марта. Черным и красным карандашами комендант сделал на свободном поле рамочку и внутри написал: «Скончался наш Вождь и Учитель. Вечная слава! Мы осиротели».

Лаврентий Павлович перелистал календарь, не обращая внимания на значки и записи, значения которых ему все равно не понять. Его интересовали две даты. Во-первых, день, когда его сюда привезли.

Ничего особенного. Или почти ничего.

В нижнем углу маленькими аккуратными буквами написано: «Особый режим».

Можно предположить, что комендант знал о появлении здесь какого-то лица или об изменившихся обстоятельствах. Вернее всего, когда Берию привезли сюда, то подкрутили гайки, пугнули местное начальство. А теперь давай посмотрим, что он пишет… по поводу Нового года? Как случилось, что за мной не пришли на расстрел?

Последний листок календаря – 31 декабря.

Рыбный паек, написано чернилами. И ниже синим карандашом: *Поздравить Л. Л.*

Следующего листка нет.

Впрочем, его и быть не может. Даже если что и случилось – если война оборвала ход жизни, то в календаре это не отражено. Любой календарь кончается именно 31 декабря.

И все же обидно. Лаврентий Павлович перевернул страницу, поглядел на обороте. Конечно же, чисто.

Берия знал по собственному опыту, что новый календарь ставился на стол именно тридцать первого. А может быть, секретарша… какая, к черту, секретарша у простого коменданта или сотрудника комендатуры!

Поглядим повыше.

Уже обжившись в этом здании, потеряв опаску, Лаврентий Павлович поднялся на второй этаж, к директору. Интуиция его не обманула. В предбаннике на столе секретарши в верхнем, выдвинутом наполовину ящике лежала пачка листков – заготовленный перекидной календарь на 1954 год.

Заготовила, но не успела положить на стол шефу.

Берия заглянул и в кабинет. Там лежало опрокинутое кресло, в открытом шкафу висел плащ, хороший добротный серый плащ с квадратными широкими плечами. Берия тут же вспомнил, что он-то сам ходит как бродяга, закутавшись в одеяло, и первый же прохожий его сдаст куда следует.

Плащ был коротковат, но по ширине в самый раз. Значит, директор здесь был приземист и в теле. Жаль, что он не оставил хороших ботинок и костюма. И сорочки с галстуком.

«Не гневи судьбу, Лаврентий», – сказал он себе.

Он кинул взгляд на свои ноги – ноги были, к сожалению, босыми. Но холода он не чувствовал, и то хорошо.

С появлением плаща настроение немного улучшилось – если попался плащ, будут и ботинки. Доберемся до города, найдем людей, найдем одежду…

В плаще, куда более похожий на приличного человека, он снова вышел на улицу. Ну хоть бы сандалии, хоть бы резиновые сапоги!

Ведь не исключено, что именно на земле эта радиация остается дольше всего. Ты идешь, она в тебя сквозь голые пятки лезет! Да и вообще негигиенично и опасно ходить в его возрасте босиком по земле, когда неизвестно, какое стоит время года. Земля не ледяная, но прохладная и голая.

Лаврентий Павлович, мучимый такими мыслями, осторожно и с оглядкой шел по дороге, ведущей от фасада его тюрьмы. Ворота в решетке расступились. Он рассудил, что дорога обязательно упрется в шоссе, а там уж разберемся по указателям, куда идти дальше, где переночевать и пообедать.

Надо сказать, что пейзаж по обе стороны дороги был странным и каким-то неправильным. Деревьев почти не было, а если и были, то высокие, неживые, обломанные, а то и просто высокие пни. Такая вот полустепь протянулась далеко вперед, тая в легком бесцветном тумане. То есть местность была как бы открытая и в то же время ограниченная в видимости. Поэтому терялось ощущение перспективы, и когда Берия услышал, как играет какая-то дудочка или свирель, он не сразу даже сообразил, откуда доносится звук.

Он замер – потом увидел музыканта.

Впереди среди пней и редких стволов шел человек и играл на свирели. Он шел по обочине, не глядя под ноги и не боясь споткнуться о корни или камни, которыми была усеяна местность вне узкой асфальтовой полосы.

– Эй! – крикнул Берия. – Погодите.

Человек не обернулся – может быть, не услышал, так как сам производил звуки, – он продолжал приплясывать, сам себе оркестр и сам себе танцов.

Берия пошел быстрее, он вдруг понял, что ему плевать, кто этот человек – беженец, псих или просто гуляка, – но оказалось, что больше всего на свете Лаврентий Павлович мечтает о человеке и хуже, чем смерть, – одиночество.

Человек не спешил, но шел так, что расстояние между ними не сокращалось.

И тут Берия выбежал на шоссе. Сам не сразу сообразил.

Теперь музыкант шагал по обочине шоссе, а Берия семенил за ним по центру асфальтовой полосы, перепрыгивая через трещины.

Дорожный указатель справа – «Матвеевская». Черт ее знает, какая Матвеевская и правильно ли мы бежим.

– Эй, постой!

Впереди показалась речка. Небольшая речка, но сотворившая себе за долгую жизнь глубокую долину, как бы громадный желоб, по которому она спокойно виляла, окаймленная по

сторонам повалившимися заборами и пустыми грядками – когда-то местные жители здесь что-то сажали, а потом убежали.

Музыкант начал спускаться по тропинке, вниз от шоссе. Звук дудки, и без того прерывистый и негромкий, пропал, и Лаврентию Павловичу пришлось прибавить ходу, чтобы догнать мужчину.

Но когда он добежал до начала тропинки и поглядел вниз, то музыканта не было ни видно, ни слышно.

Лаврентий Павлович довольно долго стоял над крутым склоном, поводя головой и стараясь отыскать пропажу, но тщетно.

Впрочем, укрыться музыканту было негде, если не считать стоявших вдоль берега шалашей, сарайчиков и домиков в различных стадиях деградации.

Вернее всего, именно в одном из них и спрятался музыкант. Но идти туда и шарить по шалашам не хотелось, тем более босиком.

Он так и стоял в нерешительности, потом решил все же спуститься к речке, посмотреть на бегущую воду – он соскучился по зрелищу живой воды.

Лаврентий Павлович начал спускаться по тропинке, глядя под ноги, чтобы не наступить на стекло или гвоздь, – в этих местах очень много опасного мусора.

Спустившись шагов на сто, он понял, что вокруг стало темнее – шалаши, заборы и загородки, а также иные остатки человеческой строительной деятельности были многочисленны, и он потерял свободу обзора.

Конечно, здесь никого не найдешь, а тропинка уже стала сырой, под ногами хлюпнуло. Еще шаг – и попадешь в болото, тем более неприятное, что в нем была не растительность, а валялись консервные банки.

Лаврентий Павлович поскользнулся и ухватился за тонкий столб. Удержавшись на ногах, он поднял взгляд, и оказалось, что он стоит перед металлическим листом, прибитым к двум толстым шестам. На листе очень приблизительно и аляповато был нарисован олень. Так рисуют оленей на дешевых базарных ковриках. А раньше таких зверей можно было увидеть в Тифлисе над дверью в духан.

Пока он рассматривал некстати появившегося тут оленя, рядом с ухом свистнуло, и железный лист задрожал от удара стрелы.

Да-да, самой обыкновенной стрелы, как у Робин Гуда.

Еще не хватало здесь мальчишеск с настоящими стрелами.

– Так и убить можно, понимаешь! – выкрикнул Лаврентий Павлович. – Я тебе уши оборву.

Но на всякий случай он отошел, шагнул в сторону и тут же провалился в жижу глубже колен.

– Мать твою перемать! – закричал он в сердцах. – Плащ совсем новый.

Плащ сейчас был его единственной материальной ценностью, он уже успел полюбить его – и тут такая неприятность!

Откуда-то со стороны и в то же время сверху появился человек. Он показался Лаврентию Павловичу очень большим и опасным. Берия отпрянул еще на шаг и оказался в грязи по пояс.

– Я не в вас стрелял, – вежливо сказал человек, не производя никаких враждебных движений. – Я оленя убил. Так что вылезайте.

– Вылезайте! – вдруг рассердился Берия. – Вы же меня пугнули и заставили сюда свалиться. Неприлично как-то получается. Разве можно так к людям относиться!

– Ну давайте лапу, – сказал человек, и Лаврентию Павловичу ничего не оставалось, как протянуть и схватить за пальцы высокого человека. А он оказался высоким – на полторы головы выше Лаврентия Павловича. Но очень худым. Лицо украшали бесцветная эспаньолка и бакенбарды серого волоса, который так и не приобрел благородного серебристого цвета.

Лицо человека было бледным, морщинистым, на голове фуражка офицерского образца, но далеко не новая, френч, брюки-галифе и высокие, до блеска начищенные сапоги – как только можно сохранить такой блеск в этой грязи!

Но самое удивительное заключалось в том, что вместо сабли или кортика на портупее у этого человека висел кожаный колчан с оперениями стрел наружу, а в свободной руке он держал нечто схожее с луком, но куда короче, – Лаврентий Павлович не разбирался в старинном оружии, но понял, что это вовсе не детская игрушка.

– Ах, у вас нет обуви! – расстроился высокий человек. – Или вы потеряли?

– Нет, у меня не было.

– А как вы сюда попали? – Человек обвел рукой окрестность, как бы давая понять, что пойма речки – его собственность.

– Тут был человек... очевидно, со свирелью, – признался Лаврентий Павлович, – я им заинтересовался. Я давно не видел людей...

«Интересно, – подумал он, – а рад ли я, что вижу этого человека?»

– А, крысолов, – сказал высокий мужчина. – Опять заманивает. Значит, он вас вывел из города и хотел утопить, но вы не успели?

– Я не собирался топиться.

– А он всегда так действует. Надоел мне безумно, – сказал мужчина. – Заманивает и делает попытки утопить. Ну кого вы в наши дни утопите, а?

– Никого, – согласился Берия. Он явно столкнулся с сумасшедшим, на психику которого так повлияла атомная война. А может, и сама радиация.

– Разрешите представиться, – сказал высокий мужчина и протянул руку Берии, – Николай Николаевич, Николай Николаевич-младший. Вам приходилось обо мне слышать?

– А фамилия, простите?

– Фамилия обыкновенная – Романов.

– Из тех самых Романовых? – догадался Лаврентий Павлович.

– Приходился дядей покойному императору, – сказал высокий мужчина, отчего Лаврентий Павлович окончательно убедился в том, что имеет дело с сумасшедшим, которого лучше не сердить. – А это мои края, – сказал Николай Николаевич, – мои заповедные, так сказать, леса. Здесь я охочусь, думаю, отдыхаю от дел.

– Ну конечно, конечно...

– Господи, – вдруг рассмеялся Николай Николаевич, глядя на Лаврентия Павловича сверху вниз. – Да вы, как кажется, меня полагаете психопатом, то есть человеком ненормальным. Смотрите же: вот мое оружие, и вы видели его губительную силу. А если хотите, мы можем сыграть в Вильгельма Телля – вы слыхали о таком? Вы киваете, значит, я имею дело с образованным человеком. Кстати, я не люблю разговаривать с людьми, которые не умеют или не хотят вовремя представиться.

– Лаврентий Павлович, – сказал Берия, – Лаврентий Павлович.

– И давно вы у нас, Лаврентий Павлович?

– Недавно, – сказал Берия.

Он правильно рассчитал, что нет вреда назвать себя полным именем. По той причине, что если этот сумасшедший изображает из себя дореволюционного князя, то не может ничего знать о Берии. А если покажет, что знает – хотя бы слышал, то тут...

Николай Николаевич ничего не знал о Берии, да и не стремился узнать. Вместо этого он рывком вытащил стрелу из железного листа, как раз из груди оленя, и сказал:

– А ведь неплохой выстрел. Точно в сердце. Уложил с первого раза. А бил вон оттуда... – Николай Николаевич обернулся и показал на шалашик метрах в ста на склоне долины.

– Хороший выстрел, – осторожно согласился Берия.

— Я ведь и живу охотой, — сказал Николай Николаевич. — Можете называть меня просто князь — тут приходится быть демократом.

— Хорошо, князь, — сказал Лаврентий Павлович, и тут его поразила страшная догадка: а что, если после войны погибло социалистическое государство и к власти снова пришли дворяне? Ну и что — туда ему и дорога, родному государству. По крайней мере среди дворян нет его врагов.

Подумал — и сам испугался своих мыслей. «Как так нет? А сколько мне пришлось, выполняя жестокую волю Сталина, расстрелять или иными способами уничтожить этих самых князей? Ведь до самой смерти вождя, до начала пятидесятых, мы их вылавливали и ликвидировали. Нет, наверно, я был не прав, когда открылся. Этот не заметит, другие заметят».

— А вы охотитесь? — спросил великий князь.

— Я давно не охотился.

— А вы откуда будете родом?

— С Кавказа, князь.

Ах, как легко ложится на язык это слово! Будто и не забывал его.

— На Кавказе отличная охота, Лаврентий Павлович, — я там служил. А вы служили?

— Я позже служил, — сказал Берия.

— Этого и следовало ожидать. Но если вы питаете слабость к охоте, я вам должен показать одну штуку, я, знаете, одного хищника тут поднял, а он потом залег. Если вам не сложно, пошли, я попытаюсь его взять. А об олене не беспокойтесь, потом егеря придут и унесут его ко мне в резиденцию.

— Простите, я босой, — сказал Берия.

— Я же сказал — два шага. — Голос Николая Николаевича прозвучал неприятно. Он не любил, когда ему перечили. А Лаврентий Павлович не был склонен сейчас кому-нибудь перечить, тем более больному манией величия, который выдает себя за дядю императора.

Николай Николаевич сложился почти вдвое и начал подкрадываться к чему-то скрытому заборами и завалами сухостоя. Берия пошел за ним, и Николай Николаевич время от времени приостанавливал его движение ладонью, опасаясь, что Берия спугнет зверя.

Вот он замер.

И начал медленно поднимать свой лук, или как его... арбалет.

Он готов уже был спустить тетиву, как совсем близко раздался резкий звук дудочки. Той самой дудочки.

Князь выстрелил и тут же закричал:

— Как ты посмел! Ты мне под руку заиграл! Я же из-за тебя промахнулся.

— А я нарочно! — раздался голос из-за шалаша. — Вы знаете, князь, что диких животных осталось так мало, что каждая особь на счету. Я вам столько раз говорил — стреляйте в людей!

— Да пошел ты! — закричал в ответ великий князь и кинулся вперед.

Резким движением он откинул груду сухостоя, и глазам изумленного Берии предстал еще один железный щит, на котором ярко и аляповато во весь рост был изображен лежащий тигр с гнусной ухмылкой на роже.

Стрела вонзилась в щит где-то возле тигриного хвоста.

Берия тоже сделал шаг вперед, чтобы получше разглядеть это диво, но Николай Николаевич услышал, как треснула ветка, и крикнул:

— Не подходите, Лаврентий Павлович. Вы же видите, он только легко ранен и раздражен. Если он бросится, я не смогу вас защитить.

— И не надоело? — С другой стороны шалаша появился согнутый человек с деревянной дудкой в длинных угловатых пальцах. — Ваши звери — беспомощные жертвы дворянского произвола. Скоро в наших лесах перестанут водиться тигры. Разве мало вам того, что вы перебили всех динозавров!

– Вот это вы зря, Бетховен! – откликнулся Николай Николаевич. – Никто вам не поверит. Динозавры вымерли сами, вам каждый ребенок скажет.

– У нас детей нет!

– Не исключено, что будут. – И великий князь расхохотался.

– Лучше убивайте людей. – Человек по имени Бетховен, совершенно на Бетховена непохожий и даже не глухой, показал дудочкой на Лаврентия Павловича: – Не зря же я его сюда заманил.

– Так это ваша работа!

Они забыли о Лаврентии Павловиче, будто он был и не человеком вовсе, а какой-то монстровкой, на которую можно, не заметив, наступить. Конечно же, после радиации остались только психи.

– Моя, Николай Николаевич, моя! Я его отыскал в подвале, в тюрьме. И не зря отыскал. Великий мерзавец.

– Почему же вы так решили?

– Я куда моложе вас, великий князь. И прибыл сюда только в прошлом году. А раз так, то как бы застал его там. В тюрьме узнал о его печальном конце – у нас многие говорили. А потом кинули к нам в камеру одного капитана – бывшего капитана, не эмвэдэшного, а армейского, и тот сказал, что был в охране Берии, которого вроде бы не расстреляли, а приберегли для следующего случая. А он потом исчез. Вот вдруг подумал, а не наш ли это случай?

– Вы мне надоели, Бетховен, – сказал Николай Николаевич. – Я даже подозреваю, что вы вовсе не Бетховен. У него была совершенно другая прическа.

– Так вы думаете охотиться на этого вот, Берию?

– Я должен сейчас охотиться?

– Ну сколько вам нужно говорить! Я для вас выманил этого мерзавца.

Николай Николаевич глядел на Берию, и во взоре его не было никакой решимости.

– А я хотел еще слона поискать, – сказал он наконец.

– По-моему, вы здесь походили с ума, – сказал Бетховен. – Я даю вам уникальную возможность избавить наш свет от убийцы и злодея, а вы предпочитаете слона.

– Погодите, погодите, – решил воспользоваться заминкой Лаврентий Павлович. – Почему никто не хочет выслушать моего мнения?

– Помолчи, я таких, как ты, уже выманил с полдюжины. И буду ловить!

– Бетховен прав, – сказал Николай Николаевич.

– Я требую открытого суда! Вы докажите, что я виноват! – Берия смотрел на князя.

– А он дело говорит! – сказал великий князь. – Займитесь, коллега, составом суда, подбором присяжных, чтобы все как положено.

Великий князь пошел дальше по берегу речки, высоко поднимая ноги. Его сапоги блестели, несмотря на грязь.

– Ну что, выкусил? – спросил Лаврентий Павлович. – Никакой ты не Бетховен, и мы еще выясним, кто ты такой.

– Здесь каждый выбирает имя, которое ему больше всего подходит. Должна же где-то быть свобода!

Они стояли по щиколотку в грязи, и понятно было, что никакого вреда друг другу они причинить не могут. Лаврентий Павлович, хоть и исхудал во время заключения и суда, сил не прибавил – он и выглядел бывшим толстяком. Пожилым, скорее немощным, даже если в молодости и отличался силой. Впрочем, никогда Лаврентий Павлович не отличался ни силой, ни ростом, ни красотой – все вместе это вело к желанию повелевать. И он присоединился к неистребимой армии претендентов на мировое господство, которые провели лучшие годы, набираясь сил. Присоединился – чтобы отомстить девочке Наде Иоселиани, презревшей его в шестом классе. А когда он достигнет таких высот, что может сказать: «Теперь ты будешь у

меня в ногах ползать, умолять, чтобы я тебя в койку на ночь взял, иначе я весь твой род в порошок сотру», оказывается, что Надя не представляет уже интереса – пускай остается на своей коммунальной кухне со своими тремя шелудивыми ублюдками и алкоголиком-мужем!

Его противник был выше ростом, зато худ и сутул. У него были печальные шоколадные глаза на очень белом лице, удрученном корявым носом.

И тут Лаврентий почуял, что враг не уверен в себе.

Нет, музыкант по кличке Бетховен не чета министру Госбезопасности!

– Что же еще тебе капитан наплел? – спросил Берия.

– Он рассказал, где вас содержат. Он сказал, что вам лично товарищ Хрущев велел писать воспоминания, то есть доносы. А потом вас все равно расстреляют, потому что для всех вы уже расстрелянный.

– А какой твой интерес?

– Я подумал: такая сволочь, как вы, если дотянет до Нового года, наверняка попытается к нам прорваться. Надо было сегодня проверить.

– Почему сегодня?

– Потому что сегодня первое января. С Новым годом, товарищ Лаврентий Павлович Берия!

– С каким еще годом?

– С наступившим. Вот я и пошел проверить. И решил, что если я, к сожалению, угадал, то обязательно вас уничтожу. Хватит у нас здесь своей нечисти.

– А чего же не уничтожил?

С каждым словом Берия как бы наливался силой, словно русский богатырь, прижавшийся к земле.

– Вы же понимаете… я не умею убивать. Я надеялся на великого князя. Если я вас выманю, он обещал вас подстрелить. Но промахнулся.

– И что же будем делать? – спросил Лаврентий Павлович.

– Не знаю, – признался музыкант.

– А на самом деле как тебя зовут?

– Семен Матвеевич, Гуревич Семен Матвеевич.

– А кличку себе придумал – Бетховен. Чтобы я не догадался о национальности? Ну и порода, ну и нация!

– Вы не думайте, что легко отделались, – сказал Гуревич. – Потому что я до вас доберусь. Или другие доберутся. Здесь таких немало.

– У государственного деятеля всегда много врагов, – признался Берия. – Это неизбежно.

Лаврентий Павлович размышлял: то ли перевести разговор в товарищеское русло и выпытать у этого музыканта подробности ситуации – он быстро расколется. Или принять другой, более суровый тон? Последнее победило, потому что уж слишком противно было стоять в этой грязи.

– А ну хватит! – крикнул он, набычиваясь. – Поговорили и хватит. Разувайся.

– Как так разувайся?

– Снимай ботинки.

– Но они же мне нужны.

– Мне нужнее. – Собеседник пасовал, отступал, и вдруг Лаврентий Павлович ощутил почти потерянное, забытое чувство силы – он так любил прежде заставлять людей делать по его воле, желанию, капризу, и делать то, что совершенно противно их природе. Когда-то Хозяина спросили, какое чувство ему всего ближе, и он ответил – месть. Лаврентий Павлович ответил бы – чувство власти. Месть мельче, о мести можно забыть… он был крупнее Хозяина!

Теперь Лаврентий Павлович уже полностью овладел положением. Он не спеша оглянулся, зная, что этот Бетховен всецело в его власти. Охотник попался в лапы дичи. Смешно.

Оглянувшись, Лаврентий Павлович увидел совсем рядом обвалившийся забор. Он резко рванул планку, вытащил ее — теперь он был вооружен. Хорошая плоская палка больше метра длиной. Ею можно еще как огреть по спине!

— Осторожнее, — предупредил Гуревич, — там гвозди.

— Ах гвозди! Ну тем лучше.

— Ну чего вы от меня хотите! — взвыл этот самый Бетховен. — Вы же сколько угодно ботинок найдете. — Он показал рукой куда-то наверх. — Зайдите в универмаг, там они стоят рядами, выберите себе что нужно.

— Считаю до трех.

Бетховен ринулся на сухое место, Лаврентий Павлович было замахнулся, но сообразил, что Гуревич лишь хочет снять ботинки там, где удобнее.

— Они вам будут малы, — сказал он.

— Ничего, кидай.

Бетховен кинул ботинок, он был мокрый.

— Ничего, — сказал Берия, — не хочу простужаться.

— Простужаться? — И вдруг Гуревич захохотал. Тонко, противно, но не притворяясь. — Как же вы, милостивый товарищ, намерены простудиться?

— Очень просто.

Берия натянул ботинок. Тесновато, но зато как приятно — человек в ботинках совершенно иначе себя чувствует.

— Мне кажется, что вы, как бывает с новенькими, — сказал Гуревич, переминаясь с ноги на ногу (без ботинок ему было стоять неприятно), — вы до сих пор не представляете, куда попали.

— А вот это вы мне сейчас расскажете, — грозно сказал Берия.

— Вы не так страшны, как хотите показаться, — ответил Гуревич. — Ботинки вы еще у меня отнять можете. Но этим ваши возможности практически ограничиваются.

— Пошли, — приказал Берия, показывая вверх по склону.

Бетховен пошел впереди. Он вынул было свою дудку, хотел поднести ее к губам, но Лаврентий Павлович сразу догадался, что Бетховен намерен звать сообщников, а этого допускать нельзя.

— Если ты ее еще раз вынешь из кармана, я ее собственными руками разломаю, — предупредил он.

Тропинка была сырья, но не очень скользкая. Как приятно не глядеть под ноги.

Они поднялись на шоссе.

Где-то там внизу бродит по помойкам великий князь с его жестянной охотой. Его надо беречься, у него есть арбалет. А из арбалета можно и убить.

Бетховен прошел несколько шагов и уселся на асфальт.

— Устал, — сказал он.

Берия хотел было съездить ему палкой по затылку, а потом решил, что пора менять тактику.

— Снимай штаны, — сказал он, — быстро.

— Вы не посмеете!

— Еще как посмею. Ты же меня знаешь. Ты меня знаешь?

— Еще бы, — сказал Бетховен. — Вы моего отца убили, брата убили, жену заморили. Я все знаю...

— Тогда снимай штаны. Мне в штанах больше нравится, а то видишь — что у меня под плащом! Разве это штаны?

— Но у меня ненамного лучше, — признался Гуревич.

Берия присмотрелся.

— А ты говоришь, здесь можно достать?

- Конечно.
- И не радиоактивные?
- Да обычные, новые – нет проблем.
- Покажешь?
- Когда?
- Сейчас.
- Мне отдохнуть надо. Вы-то здесь новенький, у вас еще силы остались.
- А ты не новенький?
- На полгода старше вас, а это здесь много значит.
- Радиация?
- Да что вы заладили со своей радиацией? Откуда здесь быть радиации?

Берии не хотелось стоять.

Он уселся на асфальт в двух шагах от Бетховена. Если тот попытается убежать, Лаврентий Павлович его догонит.

- А если здесь нет радиации, то где народ? – спросил Берия.
- Точно! – почему-то Бетховен обрадовался. – Он ничего не знает!
- А ты объясни старику, объясни.
- Я и пытаюсь объяснить.
- Война? Да? Американцы напали? Атомная бомба? Все погибли? Остались только психи и кто был под землей, да?
- Ах вот какую теорию вы построили, Лаврентий Павлович! Нет, не выдерживает критики ваша теория. Не было атомной войны, не было радиации, и я вовсе не псих, а такой же, как вы, беженец. И мне даже смешно, что мы с вами оказались в одном положении. Я вас дудочкой заманивал…
- Неудачно.
- Разумеется, неудачно, я не охотник и даже не настоящий крысолов. Но зато куда информированней вас.

Лаврентий Павлович поднялся и встал над Бетховеном. Тот не стал подниматься.

Лаврентий опирался на палку от забора. Как Геракл на дубинку.

Бетховен смотрел на него снизу вверх.

– Говори, – приказал Берия. В нем росла тревога. Он уже понимал, что происходит нечто вне его понимания, даже более невероятное, чем атомная война.

– Этому еще нет настоящего научного объяснения, – сказал Бетховен. – Но, как вы знаете, отсутствие объяснения не закрывает тему. Вы попали на тот свет…

Бетховен смотрел на него, чуть склонив свою еврейскую голову. И, в общем, его не боялся. Испугался там, внизу, у речки, а сейчас уже овладел собой, потому что знал секрет, и секрет для Лаврентия Павловича вполне страшный.

– На тот свет? – повторил Лаврентий Павлович.

Этот вариант ему в голову не приходил, потому что он был убежденным материалистом, ленинцем, он знал, что тот свет – выдумки попов и всевозможных врагов пролетариата. Но в то же время он сам никогда не участвовал в разрушении церквей или убийстве священников. Если уж приходилось, то поручал другим. И все только потому, что Лаврентий Павлович не знал, что происходит с человеком после смерти. Он столько видел смертей и стольких людей убил сам, что волей-неволей стал мучиться мыслью – а что потом? Куда деваются все эти люди, мгновение между жизнью и смертью которых он наблюдал?

После смерти должно что-то быть. И марксизм не мог дать на это ответа. И как бы ты ни штудировал классиков и даже Хозяина, то ты, будь у тебя голова на плечах, приходил к выводу, что эти умные люди и сами не знают, что происходит после смерти.

– На тот свет… Нет! – Лаврентий Павлович был не согласен.

- Отчего такая уверенность в себе? – спросил Гуревич.
- Он не такой, – сказал Берия.
- Вам это доложили?
- Без иронии!
- Так в чем проблема?

Бетховен не издевался, он наблюдал за Лаврентием Павловичем, как ученый наблюдает потуги муравья, взбирающегося на песчаный холмик.

- Все должно быть иначе.
- Никто с того света домой не возвращался.
- С чего вы-то так решили? Где ангелы и всякие ихние причиндалы?
- Не бунтуйте, товарищ министр, – сказал Бетховен. – От этого ничего не изменится.

Тем более что вы правы – наш свет отличается от всех вариантов, которые есть в религиях. Потому что он – материалистический.

- Объяснись.
- Существует и, видимо, всегда существовала категория людей, которые мечтают о том, чтобы спрятаться, исчезнуть, не быть вместе с человечеством. Если им грозит неминуемая смерть или страшный позор. Вот возьмем ваш случай.

Берия кивнул. В самом деле, лучше понимать на своем опыте.

- Вам грозила неминуемая смерть. Все ваши надежды рухнули. И пик ваших переживаний попал на момент Нового года – когда люди переходят из года 53-го в год 54-й. И вы, ваш организм, вопил: нет, я с вами не пойду! Идите без меня! Я согласен на все, что угодно, – только бы не идти с вами.

- И что же?
- А то, что некая сила – назовем ее природой – эту просьбу согласна выполнить. Но с одним условием – это случается раз в году, в новогоднюю ночь. Погодите, не задавайте мне вопросов, на которые я не смогу ответить. Почему именно христианский Новый год? Не знаю, я говорю о фактах. Раз в году, в одну минуту, в одну секунду – если вы отчаянно пожелаете уйти от человечества, ваше желание сбывается. Вы оказываетесь в мире, который вас сейчас окружает. В мире без времени.

- Почему без времени? Я же говорю с тобой, я хожу, значит, в нем есть то, что было раньше, и то, что будет после, – значит, есть время.

– Не философствуйте, министр, – сказал Бетховен, – факт остается фактом. Мы все здесь такие.

- Те, кто не захотел?
- Да. Вот я, например, был на краю смерти, и в то же время назавтра нас отправляли на этап, который мне не пережить... и я оказался здесь.
- Но почему именно этот момент? Один момент?
- Я просил вас не задавать мне вопросов, на которые я не готов ответить.
- Но вы проверяли?
- Не надо проверять. Каждый новенький узнает о нашей жизни через полчаса после прихода.

- А потом? Что происходит потом?
- Потом? Мы существуем. Мы живем.
- Долго?
- Пока не износимся.
- Я не понял!

– Никто здесь не болеет, не стареет, не ест, не спит, не пьет, не любит... в этом нет нужды. Время остановилось, и кровь перестала течь в ваших жилах.

- Ну уж это в переносном смысле!

– В переносном. Но биологически мы все – мертвые. Мне рассказывал доктор – состав крови, тканей, всего довольно быстро, через несколько дней или недель меняется. Вы даже и не знаете, что температура наших тел на несколько градусов ниже, чем у нормальных людей.

– Ну меня-то ты с собой не путай! – рассердился Берия. – У тебя кровь, может, лягушачья...

– А у вас руководящая, да?

– Нормальная кровь.

Берия непроизвольно потрогал свою шею. Шея как шея. Нормальная шея.

– Если холодное тронуть холодным, то не заметишь, – сказал Бетховен.

– Перестань нести чепуху!

Берия пошел прочь по шоссе. Ему было страшно и противно. Ему сказали, что у него неоперабельная опухоль, – неужели он зря старался, бежал... А куда бежал?

Бетховен шел сзади и говорил, занудно, тихо, но Берия не мог его не слушать. И слушал.

– Вы думаете, нас много? Нет, люди не бессмертны, они конечны, хоть здесь никто и не умирает. Мы изнашиваемся, как вещи, и исчезаем, как вещи. Двести, триста лет, и конец... да и поступления невелики.

– Помолчи!

– Каждый новый человек вскоре начинает искать себе дело... Кстати, вы не хотите выступать в нашей стенгазете? У нас на Измайловском стадионе есть стенгазета. Ее делают такие чудесные люди! Интернационалисты, увлеченные своим делом, так сказать, пионеры первого набора. Вы были в пионерах?

Этот Бетховен совершенно обнаглел, забыл, наверное, как у него обувь отобрали! С другой стороны – пускай говорит, если не врет, а не похоже, что врет, значит, Лаврентию Павловичу предстоят нелегкие времена. Эти сволочи – тибетские мудрецы, может, предсказали и верно, но по присущей им подлости упустили пустячок – где он проведет последние годы жизни? В какой-то никому не нужной дыре?

Нет, так быть не может! Конечно же, этот мерзавец сошел с ума, и ему чудится этот нелепый мир.

– Видите, – Бетховен остановился, будто угадал мысли Берии, – мы с вами входим на территорию дачи Сталина. Это так называемая ближняя дача. Если вы и в самом деле Берия, вы должны знать, где помер ваш Хозяин. Хотите посмотреть?

– Там охрана, – уверенно сказал Лаврентий Павлович.

– Даже если власть переменилась?

– Какая бы власть и как бы ни менялась, – сказал Берия, – там всегда будет охрана.

– Тогда пойдем поглядим?

Берия остановился. Он не мог заставить себя сделать первый шаг – не потому, что боялся охраны, мало ли что, начнет стрелять... нет, больше всего он боялся, что охраны не окажется. Потому что это означает куда более крутое крушение, чем просто смерть великого вождя. Берия мог быть циничен, но он же оставался коммунистом, то есть человеком, который уверен в незыблности системы.

– Пошли? – спросил Бетховен.

Он стал спускаться с другой стороны шоссе, и они пошли по тропинке вдоль реки. Откосы берегов сблизились. На них валялись стволы упавших деревьев, валежник и сучья. Но ни одного зеленого дерева, ни полоски травы Лаврентий Павлович не заметил.

И тут Лаврентий Павлович догадался, что эту речку он знает по той, прежней жизни, даже спускался к ее берегу, где в чистой воде медленно плавали пескари. Он вспомнил, как ему пришлось строго наказать двух директоров фабричек, стоявших выше по течению Сетуни, не сообразивших – ведь русского мужика пока не выпорешь, он не догадается, – что мерзопа-

кости от их производств попадают в воду, а значит, доплывают, как сосиски дерьма, по воде до местности, где гуляет вождь.

Он лично обещал Хозяину разобраться и принять меры и искренне был возмущен, как и Хозяин, тем, что плыло по речке в такой близости от дачи. Он сам забил до смерти и пристрелил уже доходивших директоров фабрик, приказал снести домики и огородики у берегов Сетуни, и главное – этим он мог гордиться, он ведь был награжден незаурядным умом – поставил у ограды при входе на территорию дачи вертикальную сеть и сменяющиеся бригады под наблюдением верных людей, чтобы они собирали с поверхности воды и из ее глубин все, что могло нарушить расположение духа Хозяина.

Размышляя о себе и своей роли в истории России, Лаврентий Павлович дошел следом за Бетховеном до открытой полянки, летом обычно поросшей травой, окруженной дорожкой, по которой он столько раз гулял с Иосифом Виссарионовичем и обсуждал с ним не терпящие отлагательства дела государства. Сколько здесь, в неспешных прогулках, было решено человеческих судеб и сколькие фразы кончались смертью для того, о ком вспоминали. Эти прогулки доказывали судьбе, что страна-то маленькая, несмотря на полторы сотни миллионов ее обитателей. Как и при дворе Николая Павловича, который гулял по иной дорожке с Бенкендорфом, люди с фамилиями составляли вряд ли более десятой доли процента, и потому их было легко казнить и миловать. Остальные же имен и паспортов не имели, их казнили и миловали миллионами, по мере надобности промышленности и сельского хозяйства. Конечно, Лаврентий Павлович был умен, но не настолько, чтобы понять и усвоить – Сталин обладал гениальной способностью отыскать в своем окружении самого подлого и жестокого лакея, но обязательно лакея, и затем дать ему невиданную власть убивать. За исключением того, что срок его собственного пребывания на Земле ему не сообщался.

Впрочем, Сталин и сам не знал, когда закончится нужда в Ягоде, Ежове или Абакумове. И в Берии.

Вид дачи вождя потряс Берию.

Он сначала решил, что у него галлюцинации.

Дом частично обрушился, крыша провалилась, покосилось крыльцо.

Как бы долго ни отсутствовал Лаврентий Павлович, смерть вождя наступила столь недавно, что эти изменения с домом произойти не могли.

Следовательно, это – злой умысел.

Но странный злой умысел: почему-то враги коммунизма и лично Иосифа Виссарионовича уничтожили лес – ведь здесь стояли могучие ели – лишь некоторые из них, сухие, без иголок, поднимались вокруг. Но их было слишком мало, даже не прикроешь забора.

Значит, Хрущев с Маленковым успели совершить это злодейство за то время, пока он сидел в камере.

Берия направился к дому. Из этого следует, что он все же не поверил в сказки про Новый год и возможность остаться в году старом, где нет нигде и никого, провалиться в прошлое. Да и как материалист может поверить в сказку о двойном мире, о мире естественном и мире подземном, в котором время стоит?

Чепуха какая-то! Мы этого не знаем и знать не хотим!

Дверь была открыта. Надо хотя бы проверить, какие повреждения нанесены мемориальному комплексу – так дачу Сталина Лаврентий Павлович называл вполне искренне.

И в дверях Лаврентий Павлович замер.

Изнутри доносилось пение. В два голоса.

Два женских голоса тянули песню «Сулико», любимую песню вождя, исполнявшуюся столь часто и столькими певцами, что даже Лаврентию Павловичу она несколько надоела.

– Что такое? – спросил он у Бетховена.

Тот улыбнулся, и, как показалось Берии, смущенно.

— Это милые, ни в чем не виноватые женщины, — сказал он. — Не надо их казнить и разоблачать.

Лаврентий Павлович поморщился. Он уловил издевку в словах Бетховена. И подумал: «Я до него доберусь. Он еще пожалеет...» Но о чем пожалеет Гуревич, он не знал, хотя был уверен, что не забудет. Не забывай обид — этому он выучился у Хозяина. И хоть не считал это главным своим занятием, распускаться гуревичам он не позволит.

— Что они там делают? — Лаврентий Павлович направился к двери, прошел сразу в бильярдную — угадал, откуда идет звук.

Зрелище, представшее его глазам, было ужасно: на большом бильярдном столе, который в последние годы не использовался, стояли две женщины — молодая и старая, высокая и коротенькая. Одеты они были в школьные платья — коричневые, с рукавами, юбки-клеш. Поверх платьев — белые передники с кармашками на плоских грудях.

Одна из них была завита, а может, волосы завивались сами, а на другой был большой черный, не по размеру парик, какие носили когда-то сподвижники Людовика какого-то.

Женщины держались за руки и, тщательно выговаривая слова, пели любимую песню Иосифа Виссарионовича.

Но они были в той бильярдной не одни.

На стульях, принесенных из столовой, сидели еще два человека, мужчина и женщина.

Они образовывали собой аудиторию.

Когда Берия вошел, мужчина обернулся и приложил палец к губам, показывая необходимость блюсти тишину.

Берия с Бетховеном остановились в дверях.

Все в бильярдной было как прежде, только окна разбиты и общее состояние свидетельствовало о запустении.

Женщины продолжали петь, но глядели на Берию и Бетховена со страхом, и потому одна начала фальшивить, а у второй сорвался голос, и она запела басом.

— Все! Все! — Мужчина встал и захлопнул в ладоши. — Репетиция закончена. Я вас не выношу! Вы сознательные вредители.

Мужчина был рыжим, невысокого роста, с крупным носом и темными усами. Лицо его было Берии знакомо, но он не мог сообразить почему.

Женщины с трудом слезли с бильярдного стола, для чего им пришлось лечь на животы и сползать, нащупывая ногами пол.

— Вы не смотрите на меня так, — сказал рыжий человек, — я вас отлично знаю, Лаврентий Павлович, и рад вашему к нам прибытию. Это, конечно, случайность, что вам удалось обмануть жестокую старуху с косой, но не чудо то, что мы с вами воссоединились. Ну, обними меня, старый товарищ!

— Вы не Сталин, — сказал Берия. — Вы только изображаете из себя Сталина.

— А я что говорила! — воскликнула одна из певиц. — Он всегда фальшивил, а Иосиф Виссарионович не допускал никакой фальши даже в самых сложных партиях.

— Значит, вы думаете, что он — не Сталин? — спросил Бетховен. — У нас были сомнения, и я привел вас специально, чтобы их развеять.

— Но ведь я давно сюда попал! Посмотрите, какой я молодой! Я совсем юный, я из периода Гражданской войны, когда под Новый год меня окружили беляки под Царицыным и для меня остался только один путь — сюда!

— Простите, — сказал Берия, — а кто же тогда боролся с оппозицией, проводил коллектivизацию, индустриализацию? Я, что ли?

— Конечно, вы подобрали двойника. Может, даже нескольких двойников.

— В то время, — сказал Лаврентий Павлович, поднимая указательный палец, — никто еще не подозревал, что Владимир Ильич Ленин скончается.

– Я читал, я знаю, – сказал Гуревич, – Сталин был ничтожной сошкой!

– Вот этого я бы не сказал, – возразил Лаврентий Павлович. – Так вы что же, изображаете здесь товарища Сталина? Нехорошо, молодой человек, и это граничит с политической провокацией.

– Я ему говорю – вот придет Берия, Берия нас рассудит, – сказал Гуревич.

Лаврентию Павловичу не нравились словечки, а главное – выражение глаз этого Бетховена еврейского происхождения. Издевался.

– Этого я и боялась больше всего, – сказала высокая певица. – Лжемученик! Вы знаете, что он замучил моего мужа?

– И я верила. Вы меня, может, и не знаете, меня зовут Евгения Бош. Я руководила расстрелами беляков в Крыму.

– Нет, не слышал, – сказал Берия и пожал протянутую ему холодную руку революционерки.

Он пребывал в полнейшей растерянности! Где же он находится? Ведь подземного мира нет, и он не предусмотрен марксизмом, хотя церковь, может быть, его и признает. То ему кажется, что вокруг психи, сбежавшие от атомной войны, то получается, что Бетховен не врет – иначе как могла так разрушиться и прийти в негодность сталинская дача? Кто мог ее так засорить?

Лаврентий Павлович был сторонником неожиданных действий.

– А где Хрущев? – спросил он у псевдо-Сталина. – Где Никита Сергеевич?

– Там, – ответил за самозванца Бетховен. – Он к нам еще не поступал.

– Вы уверены?

– Мы ни в чем не уверены.

– Вот мы и ждали вашего прихода, Лаврентий Павлович, – сказала большевичка Бош. – Мы хотим, чтобы вы провели в нашем коллективе политинформацию. Поставили нас в курс внутренних и иностранных событий. Можно ли на вас положиться?

Конечно, это просто куча сумасшедших. Но сумасшествие – хитрая штука. Оно же не исключает того, что весь мир сошел с ума. Если ты чего-то не понимаешь, Лаврентий, допусти, что ты и сам можешь ошибиться.

Отсюда следует, что Лаврентий Павлович был здравомыслящим человеком. Это делает подобных людей особенно страшными, если они служат сумасшедшими тиранам.

Но в его распоряжении появился один любопытный факт: здесь, на даче Сталина, в Волынском, собралась небольшая группа людей, которые считают себя членами партии и даже ждут политинформации. Среди них Евгения Бош – а может, и настоящая? И другие товарищи. То есть существует база для начала действий.

И если этот мир – особенный мир, не продолжение нашего, если здесь нет Хрущева, если здесь действуют свои законы, то тогда этим миром можно завладеть. А потом уж мы разберемся, кто здесь бессмертный, а кого пустим в расход…

– Продолжайте петь, товарищи, мы любим эту песню, – сказал Лаврентий Павлович и уселся на стул, который раньше занимал псевдо-Сталин.

Глава 3

Лаврентий Берия

Поднялся ветерок.

Вряд ли его можно было назвать ветром. Так, ветерок...

Но для старожилов он был неприятным, забытым знаком возможных перемен, поэтому тревожил.

Сенаторы прибывали в велоповозках или в носилках к необычному зданию ресторана «Приморский» и поднимались по широкой лестнице в зал ресторана.

Ресторан построили в семидесятых годах под Ленинградом в расчете на финских туристов, неподалеку от автомобильной трассы на Выборг. Круглый, полностью застекленный зал далеко выступал вперед, нависая над пляжем и мелководьем.

Берия подумал, что снаружи зал напоминает ему довоенное мороженое. Было такое мороженое между двумя вафельными кружочками. Мороженщик ловко кидал на дно алюминиевого рожка кружок с твоим именем, потом клал туда ложку мороженого и, прикрыв вторым кружком, выдавливал лакомство наружу.

Но ни разу Берии не досталось мороженое с его именем. Не делали на фабрике вафельных кружков со словом «Лаврентий», редкое имя. Лаврентий думал тогда: «Стану большой, и все будут меня слушаться. Я приду на фабрику и скажу: «А ну немедленно сделайте вафельный кружок с именем Лаврентий. Иначе не сносить вам головы!» И они сделают такой кружок, а Лаврентий будет облизывать вытекающее из-под кружков мороженое, подхватывать его языком и поворачивать так, чтобы все видели, что на вафельном кружке выдавлено слово ЛАВРЕНТИЙ.

Наверное, это воспоминание было смешным. Но привело к печальным мыслям. До войны, когда он уже был взрослым, он мог, конечно, приказать, чтобы на фабрике сделали такие кружки, тем более что в Грузии уже начали называть его именем детей. Но как-то было недосуг, не вспомнил о таком пустяке.

А здесь, можно сказать, после смерти, начали одолевать земные, но невыполнимые желания. Их не должно бы быть, как не должно быть голода, жажды, стремления к женщине. Но все оказалось куда сложнее. Некоторые чувства остаются и в мире теней: страх, ненависть, месть... А они влекут за собой, оживляют желания, которых и быть не может.

Берия остановился, обегая взглядом уродливое здание ресторана. За ним тянулся пустой пляж, почти серый под серым небом, переходящий в серое море. Серость эта имела оттенки от нежного, желтоватого, свойственного песку, до темного, водяного, у берега. Волн не было, но Маркизова лужа не была абсолютно гладкой. Ветерок, о котором шла речь, кое-где рябил ее гладь, и эти темные или светлые, в зависимости от освещения, полосы перемещались по заливу.

Людей на пляже не было, единственный сохранившийся зонт давно порвался, полосатые ключья провисли и чуть шевелились от движения воздуха.

Правда, виднелась одна фигура на пляже, метрах в ста от ресторана, – вернее всего, это был охранник.

Он стоял возле высокой корявой сосны, которой при жизни досталось от морских ветров, а после смерти – от одиночества.

Подъехал консул Клюкин со своей подругой, красавицей Ларисой.

Они прибыли в карете, найденной на «Ленфильме», запряженной двумя велосипедистами в красных накидках и пожарных касках.

При всем старании быть первым в городе Клюкин не смог одолеть Берию. Берия разъезжал в «Паккарде», и его велосипедисты были все как один в черных блестящих плащах до пят и в немецких стальных шлемах из Музея обороны Ленинграда.

Сейчас он оставил машину в стороне и делал вид, что пришел сюда пешком, так было демократичнее. Ведь сам Чаянов упрямо ходил на все совещания пешком – выходил за три часа из дома. Но кто наблюдает эти часы?

– Что-то поддувает нынче, – сказал Клюкин.

Некогда он был толстяком и занимал ответственную должность. И сам, не без юмора, цитировал Салтыкова-Щедрина из повести о помпадурах и помпадуршах, где престарелый помпадур пишет памятку для губернаторов. Для того он носил с собой в бумажнике ветхую на сгибах бумажку: «Необходимо, чтобы администратор имел наружность благородную. Он должен быть не тучен, не скарден, роста быть не огромного и не излишне малого, должен сохранять пропорциональность в частях тела и лицо иметь чистое, не обозображенное ни бородавками, ни тем более злокачественными сыпями. Сверх сего должен иметь мундир».

Произнося последнюю фразу, Клюкин принимался смеяться. Он давно всем надоел, как может надоест человек, помнящий единственный анекдот. Мундир городничего, который он отыскал в Театре юного зрителя, был сильно поношен, но Клюкин утверждал, что состоял в свите Его Величества. Лаврентий Павлович с его дотошностью раскопал на Клюкина материалы – он был всего-навсего жандармским ротмистром, проворовался и должен был застремиться. По крайней мере родственники так полагали. На самом деле сбежал в Ташкент, потом объявился в Пскове. А дальше Берия потерял его след. Правды же от Клюкина не добьешься. Подруга Лариса, которую Лаврентий Павлович давно уже сделал своей осведомительницей, ничем помочь не могла или не хотела. Она была рыжей красавицей, у нее когда-то был знаменитый муж. Но сама она чуть не умерла от холеры где-то в Гражданскую войну, а мужа сотрудники Берии выбросили из гостиницы, с пятого этажа, лет через двадцать. Может быть, не из гостиницы, а из госпиталя…

Лаврентий Павлович любил точность. Особенно когда это касалось личных дел на его сотрудников или других подозреваемых. А в этом чертовом потустороннем мире никогда толком не найдешь концов. Некоторые бумаги погибли, другие и вовсе не существуют или не существовали.

Лариса посмотрела на Лаврентия в упор. Это был такой фокус – он удавался ей в молодости. Мужчины терялись от такого взгляда, не понимая, приглашают ли их в постель или к серьезному разговору о судьбах революции.

Лаврентий сказал:

– Мы потом поговорим, Лара. Нам есть о чем поговорить.

– Не пугай, – сказал Клюкин. – Лариса находится в моей юриспруденции.

Лаврентий смотрел, как они поднимаются по лестнице. Он ждал, что Лариса обернется. Если обернется, значит, у него остается над ней власть.

Лариса обернулась у самой двери.

– Не пьялься, – сказала она. – И сними наконец шляпу. Здесь не бывает дождя.

За спиной Лаврентия Павловича засмеялся высоким голосом Грацкий.

Грацкий – враль, умеющий устраиваться даже в аду. Высокий, гладкий и обтекаемый. Здесь нет телефона, потому он проводит все время в визитах. Так как хорошие пролетки все давно расхватали, он ездит на мотоцикле с коляской, запряженном рикшами. Уверяет, что это особенная машина, сделанная по его заказу в США, куда он плавал в прошлом году на подводной лодке. Бред этих слов очевиден, так как здесь нет подводных лодок и, весьма вероятно, нет и Соединенных Штатов. Но все слушают Грацкого и соглашаются с ним. Хотя никто не верит. На нем мундир с эполетами, потому Грацкий зовет себя министром обороны. Ни больше ни меньше.

Грацкий относительно молод. Он попал на этот свет лет двадцать назад. Он делает вид, что интересуется женщинами, и делал предложение Ларисе.

— Мальчик, — сказала ему красавица, — мне уже ровно сто лет. Обещают к дате наградить. Кажется, твоя болезнь называется геронтофилией.

— Твой возраст на тебе не нарисован, — сказал Грацкий. — На самом деле я — один из последних соратников Наполеона. Тебе что-нибудь говорит это имя?

— Ничего. — Лариса разводит тонкими руками, щелкает пальцами перед носом Грацкого и добавляет: — Клюкин сказочно богат и заботлив. Ты — хвастунишка. Женщине нужен защитник. Может быть, я перейду к Лаврентию. Он — удав.

Берия тоже задумался, откуда у Клюкина такие богатства? Здесь нетрудно стать относительно богатым, если специально этим заняться. Ведь в магазинах, даже в ювелирных, остались кое-какие вещи, почему-то не умчавшиеся в будущее со временем, здесь можно отыскать картины и скульптуры, труднее — перины или хорошее белье. Пустой дворец — пожалуйста! Но богатство — это субстанция куда более сложная, чем сумма бриллиантов или обручальных колец, одежд или апартаментов. Богатство — это особый аромат, талант, очевидный окружающим, хотя допустимо существование не очень богатого богача. Богачи всегда остаются таковыми, даже если их постигает разорение.

Труднее всего оставаться богачом в мире теней.

Клюкин был богачом, имел выезд, хорошо одевался, пользовался услугами горничной и садовника, хотя сада у него не было. В любовницах он держал Ларису Рейснер — самую красивую женщину Ленинграда, хотя и любовница ему не была нужна.

Ленинград… его оставили Ленинградом, хотя от вновь прибывших узнали, что городу вернули старое, дореволюционное название.

Лаврентий Павлович поднялся по лестнице наверх, в вестибюль ресторана. Он не стал снимать шляпу. Лариса правильно подметила — он перестал ее снимать, когда понял, что не нуждается больше во сне или даже отдыхе. Шляпа закрывала лысину, кидала тень на выцветшее лицо — из-под нее только поблескивали линзочки очков. Он предпочел бы пенсне, как в молодости, но не удалось найти — приходится носить очки. Казалось бы, зрению надо вернуться в норму — здесь не бывает болезней. Но зрение не изменилось. Ну и хорошо, он привык к очкам.

Берия вошел последним.

Остальные пятеро консулов уже сидели в мягких креслах, поставленных широким полу-кругом. Полукруг был обращен к морю, к стеклянной стене ресторана зала. Некоторые стекла были выбиты, но это не играло роли, потому что там обычно не бывает ветра или ходов.

Нынешний ветерок был заметен только из-за необычности.

Никто не удивился опозданию Берии, так как Лаврентий Павлович отвечал за всеобщую безопасность. И хотя ничего сенаторам не грозило, никто не намерен был отказываться от берииевской службы. Ее существование придавало сенату вес.

Берия обвел взглядом зал.

Справа налево.

Первый консул — Клюкин. Рядом с ним в кресле Лариса, это непорядок, с которым приходилось мириться. Ларису называли секретарем Клюкина, этот паллиатив устраивал и Клюкина, и Ларису, и самих консулов.

Дальше — гладкий, вертлявый, хотя и сохраняющий при том некую вальяжность министр обороны Грацкий. Он глядится в зеркальце, расчесывает поредевшие усы. Одно из преимуществ жизни на этом свете заключается в том, что на человеке не растет ничего лишнего. Ни волос, ни ногтей, не говоря уж об усах. А те, что были у тебя в момент перехода, сохраняются и понемножку истончаются, редеют, приходят в ничтожество. Лаврентию Павловичу было не

страшно, он давно облысел. А вот Грацкий лелеял и берег свои усы. Но ведь не сбережешь. Все, что не растет, погибает.

В центре сидел моложавый пожилой юноша, темноволосый, подвижный академик Чаянов. Экономист по прошлой жизни. Берия проверял. Его вроде бы репрессировали в тридцатом, хотя тогда мало кого не репрессировали. Видно, состоял в оппозиции. Лаврентий Павлович, разумеется, не имел отношения к его бедам, но все равно между ними царила неприязнь. В Чаянове сохранилось слишком много жизни. Берия не удивился бы, застав его за обедом или в кровати с женщиной. В этом была неправильность, Берия подозревал Чаянова, что тот знает какой-то медицинский секрет, а может, даже магическую тайну – ведь никто еще не доказал, что волшебства не существует.

Чаянов тоже не любил Берию. Хоть и не знал его раньше, на обычном свете. Не успел узнать. Но не скрывал, что погиб по вине чекистов, и полагает, что хороший чекист – мертвый чекист.

Дальше сидит господин Победоносцев – старый муравей, Кощей Бессмертный. С него сказки писать. Но, несмотря на возраст и злобу, правящую каждым его движением, он умен и решителен. И это его толкает в союзники к Берии. Они чем-то близки. Оба никому не верят и полагают, что человеческая природа гнусна и низка.

А вот и последний из консулов – его святейшество, или как там именуют митрополитов, Никифор. Сладкий старичок с бородой Деда Мороза. Но это ложь. Если дать ему волю, он ухватит власть когтистыми лапками и сожжет на кострах всех подозрительных. Именно он – вождь движения за чистоту мертвого тела, именно он требует закрыть все контакты с внешним миром и, если удастся, вообще уничтожить Верхний мир, из которого сюда проникает лишь опасное легкомыслie и ереси.

Консулы привыкли, что Берия отвечает за безопасность заседаний. Кто-то должен брать на себя неприятные обязанности, а для Лаврентия в них нет ничего неприятного. За малым исключением никто из консулов не был знаком с Берией в той жизни, когда он занимал в России важное и зловещее место, за что и был приговорен к смерти. Грацкий уверял, что Берия арестовал и пытал его отца, но Берия, когда Лариса спросила его об этом, категорически возражал – он признавал, что был вторым лицом в государстве после Сталина, куратором атомного проекта, но никогда никого лично не арестовывал и не пытал. А проверить это было нельзя – ни документов, ни свидетелей не сохранилось.

Лаврентий Павлович смутно помнил о том, как же в самом деле складывалась его жизнь. Здесь это было неважно.

Казалось бы, с исчезновением борьбы, женщин, страстей он должен был смириться с продолжением туманного существования, но он и за порогом жизни сохранил в себе достаточно сил, чтобы стремиться к власти. «Такая у вас генетика, – говорил ему старый доктор. – Как бы вы ее ни гнали и ни уничтожали». Лаврентий Павлович ежегодно проходил у доктора полный медицинский осмотр. Он серьезно относился к своему здоровью даже после того, как перестал жить.

– Дует, – сказал Никифор. – Я убежден, что дует.

Все смотрели на море, на полосы ряби, и понимали, что митрополит прав, но эта чертова рябь настолько нарушала сложившийся порядок вещей, что ее проще было игнорировать. Правда, Лаврентий Павлович твердо выучил: мелочей не бывает. Нельзя игнорировать угрозу только потому, что она незначительна или настолько неприятна, что ее и замечать не хочется.

Лица отворачивались от окон, глядевших на море, наталкивались на презрительный взгляд из-под горизонтальных, засаленных полей шляпы и опускали глаза к полу.

– Начнем? – спросил консул Чаянов. Он был ненадежен, и за ним приходилось присматривать. Даже сейчас он мог предать, такие всегда предают – они слишком много размышляют и ерничают.

Но ничего не поделаешь. Сначала, еще в обычной жизни, люди проходят естественный или искусственный – называй как знаешь – отбор. Вот и получается пирамида. Те, кто на самом верху, имеют право – или несчастье – попасть в историю. Их имена вырублены на склоне пирамиды буквами, соответствующими их репутации. Но внутри пирамиды, невидимые для глаз людских, таятся иные люди, может, не менее вождей способные править миром.

Если снести вершину пирамиды, они появятся наружу, как дождевые черви, увиденные тобой, когда ты вывернул лопатой клок влажной земли. Таков Клюкин – кто знал бы о нем в том, живом мире? Или Чаянов. Берия никогда не слышал о таком человеке. Академик? Доктор? Ученый? Мы много видели академиков и знаем, что они мочат штаны так же, как конюхи. А здесь вылез.

Но должен быть вождь.

А вождя сейчас нет. Так случилось, что вождь скончался, растаял, износился. Для человека рационального, здравомыслящего сама мысль о том, что на том свете можно износиться и стать ничем, немыслима, потому что необъяснима по-философски. А ведь бывает. Плоть, даже избежавшая давления времени, выбитая из его потока, не прекращает терять некие атомы...

Еще полгода назад существовал и правил всеми Верховный вождь.

Звали его Иваном, Иоанном, родился он в самом конце XVIII века, был приговорен за разбой к повешению. Казнь должна была случиться наутро после Нового года. А в ночь на Новый год он исчез из камеры. Так боялся смерти, так стремился к жизни, что в новогодний миг перенесся сюда, где нет времени и нет жизни.

Был он разбойником, просто разбойником, вроде и не мог стать иным. А по прошествии двухсот лет он превратился в Верховного правителя мертвого мира, самого жестокого, холодного и разумного мертвеца в мире живых мертвецов.

Умерши раз, нельзя умереть снова, ибо в этом мире нет времени. Но человека можно сжечь на костре, изрубить на куски – насильственно прервать в нем жизнь, хоть, конечно же, это куда труднее сделать, чем в мире живых.

...Иоанн, правивший миром около ста лет, просто перестал существовать – и в этом была высшая мудрость ухода.

Он оставил после себя шесть консультов – пять прежних, шестой Берия, выбранный на пустое место. Теперь надо найти самого достойного из шести – и ошибки быть не должно.

Сегодня собирались выбирать Верховного вождя.

И решить некие проблемы, даже о существовании которых остальным жителям державы, сколько бы сотен их ни накопилось, и подозревать нельзя.

Лаврентий Павлович прошел на свое место.

Сколько раз он садился вот так, кресло надо бы перетянуть. Все кресла надо будет перетянуть, и если его изберут, он обещает перетянуть кресла. Пора сделать новые шаги, обновить стиль руководства.

Другие не имеют программы. А число и характер угроз все время возрастают. Такова жизнь, даже в отсутствие жизни.

– Мы собирались, – продолжал Чаянов, – чтобы обсудить некоторые события последнего времени, а также выбрать Верховного вождя на новый срок.

Срока не бывало. Если ты занимал это место, то до исчезновения, растворения и гибели ты его не покинешь. Могут убить, могут заклевать. Но еще не было случая, чтобы Верховный ушел сам.

– Начнем ли мы с выборов? – спросил он. – Или с других вопросов?

Тут же голоса разделились. Те, кто мог рассчитывать на место Председателя, хотели начать с выборов, равнодушные или не имевшие шансов хотели заняться сначала своими проблемами.

Лаврентий Павлович тоже не хотел спешить. Пускай те, кто видит в нем угрозу, успокоятся и потеряют бдительность.

– Тогда поговорим о жизни, – сказал Чаянов. – О нашей жизни. И если позволите, я сам и начну.

Он лежал в кресле, вытянув длинные ноги в лосинах и старинных туфлях. У Чаянова была внутренняя склонность к XVIII веку, он не скрывал ее и даже порой, но не сегодня, носил парик.

– В последнее время, – продолжал Чаянов, – усилились тревожные тенденции. Пример сейчас перед глазами – этот ветер, которого быть не может. У нас не бывает ветра. Но миром правят причинно-следственные связи. Нет следствия без причины.

Не красуйся, мысленно укорил профессора Лаврентий. Все равно не изберут. Молод, не знаешь административных игр. Вот Клюкин – это серьезно. У него есть союзник, Лариса.

Лаврентию Павловичу было горько, что его организм не хочет более женской плоти, остались только сладкие следы воспоминаний. Может, это возвратится?

А то попробовать? Вернуться туда, к живым, и посмотреть, вдруг в нем снова запоют трубы. Трубы, трубы…

– В последние дни я занялся расчетами, – сказал Чаянов. – Как меня и просили коллеги.

– Погодите, погодите, – прервал Чаянова господин Победоносцев, тот самый, из учеников истории, мракобес. Он и в самом деле мракобес, а главное – крючкотворец. Вроде бы его никто не принимает всерьез, но игнорировать никто не решается. Среди консультов он теперь старший. Лаврентий Павлович проверял слухи о том, что в мире теней люди существуют вечно. По его сведениям, ничего вечного не бывает даже в вечности. Изнашивается любое физическое, или, если хочешь, называй хоть груздем, астральное тело. Вечной вечности не бывает, потому что за вечностью приходит нечто иное, следующее. «Папочка, а Вселенная бесконечна?» – «Разумеется!» – «А когда она кончается, что дальше?»

Говорят, что в провинции, в деревнях, таятся старцы по триста, пятьсот лет, рассказывают о фараоне, который появился на Невском, искал свою Нефертити. Вернее всего, это апокриф.

– Требую, – сказал Победоносцев, – прошу моих коллег по управлению государством почтить память соратников наших, сенаторов Ярославской губернии, сраженных извергами на ристалище.

Все поднялись, помолчали, каждый думал о своем.

Берия смотрел на пляж. Там, где стоял охранник, он увидел две фигуры – мужскую и женскую. Парочка медленно шла вдоль моря, остановились, глядят вдаль. А где же охранник?

История в Ярославле – опасный сигнал. Если Чаянов не даст ей оценки, придется вмешаться.

Чаянов между тем продолжал:

– Волей злой судьбы мы оказались в потустороннем мире. Не нам сейчас говорить о справедливости или излишней жестокости постигшей нас кары. Но так устроен человек, что ему свойственно привыкать к обстоятельствам, даже самым неблагоприятным.

«Ближе к делу, – мысленно подгонял оратора Берия. – Можно подумать, что у нас в запасе вечность, как говорил мой покойный друг писатель Максим Горький».

– Хороши или плохи обстоятельства нашего существования, оказалось, что, как только возникла угроза, мы встрепенулись. Так уж мы устроены: ворчали, ужасались тому, что до конца своего бессмертия будем существовать в мире без времени, без движения, даже без облачков.

– Не надо лекций, профессор, – сказала Лариса. – Каждый из нас завершил жизнь там, наверху, когда ударили часы. Значит, он не желал жить там. Это мы уже выяснили.

– Я в самом деле профессор, – улыбнулся Чаянов, – и потому порой мне хочется разобраться в том, что со мной произошло. Почему же с некоторыми натурами в жуткий момент нежелания двинуться в будущее вместе со всем человечеством, в момент Нового года – что само по себе бессмысленно, так как Новый год – единица неизмеримая, зависящая от множества факторов, – почему с нами случился внутренний взрыв, оторвавший от человечества, от движения времени, выбросивший в странный слой существования, в мир, где нет времени, что есть вариант собственной смерти. Я понятно говорю?

– Ты не вовремя об этом говоришь, – ответил за всех Берия. Он так и не сумел избавиться от тяжелого грузинского акцента. Впрочем, даже проведшие всю сознательную жизнь среди русских грузины сохраняют акцент. Берия же попал в Москву взрослым, сложившимся партийным работником.

– Лучше лишний раз повторить, чем забыть, – ответил Чаянов. – Вам это отлично известно, Лаврентий Павлович.

Берия выкрад недавно у Чаянова книгу, из тех безответственных публикаций, что появились в 90-е годы и клеветали на ведущих членов партии. Как правило, в таких книжках Лаврентий Павлович изображался олицетворением злодейства. Все его заслуги перед Родиной замалчивались. Страшно подумать, что думают о нем дети будущего!

Лаврентий снова повернулся к окну.

Парочки не было видно. Охранник сидел на песке, прислонившись спиной к стволу высохшей сосны. Ветерок все не стихал, и полосы ряби пересекали залив.

– Мы знаем, – продолжал Чаянов, – что для нас возврата в мир живых нет. Не было никогда выхода обратно. Так сказать, оставь надежду, всяк сюда входящий. Мы смирились. Мы существовали в этом довольно слабо населенном мире, объединяясь в некие сообщества, которые не могли стать единой системой хотя бы потому, что людей слишком мало.

– И потому что нет стимула, – вмешался Грацкий. – Зачем объединяться? Что это даст? Богатство? Славу?

– Я хотела основать газету, – сказала Лариса. – Вы знаете – результат нулевой.

Никто даже не посмотрел на Ларису.

– Различные типы правления, ибо людям свойственно объединяться в социальные группы, появлялись в нашем мире. Если заглянуть в прошлое мира без прошлого...

Грацкий захлопал в ладоши:

– Браво! Браво! Какой афоризм!

– Постепенно выработался образ правления, – продолжал Чаянов, – сначала негласный, затем общепризнанный. Правление консультов. Как только нас не называли и как только мы сами не называли себя! И сенаторами, и хранителями вечности, и подпольщиками... даже такой мир, как наш, нуждается в общем, постоянном и справедливом устройении, иначе люди могут стать неуправляемыми животными.

Лаврентию Павловичу было скучно. Как надоедает стремление поговорить, показать себя.

– Мы охраняем наш мир от внешних влияний, – продолжал Чаянов. – Это не пустые слова. Они отражают действительную опасность. Оказывается, граница между нами и тем миром, в котором мы существовали ранее, прозрачна, оказывается, существовали и существуют пункты соприкосновения миров и возможности обмена между ними. Еще несколько лет назад наши московские коллеги осознали опасность таких контактов, они поняли, что именно этим путем к нам придет страшная гибель! Они постарались прекратить контакты, но были слишком слабы... и если кто-то слаб, то другой оказывается корыстен. Третий просто продажен. Даже в нашей среде нет порядка и не на кого надеяться.

– Господин Чаянов, к сожалению, совершенно прав. Скверна не только подняла голову и проникла в наши ряды, – сказал Победоносцев.

Что-то пробурчал Никифор.

Лаврентий подумал, что все происходит как в романе, где автор дает героям высказаться, всем по очереди, чтобы читатель при том понял, где происходит действие, кто хороший, а кто сволочь... Сейчас вставит свою реплику Лариса. За ней Грацкий, и разговор утонет в бесконечном обсуждении того, что обсуждать не следует.

— Продолжай, Чаянов, — сказал Берия, называя оратора по фамилии — старая партийная привычка.

— Не надо, — сказала Лариса. — Все и так знают.

— Я продолжу, — сказал Чаянов. — Слишком важна тема нашей встречи.

Берия взглянул в окно. Охранник сидел в той же позе, девушка стояла у среза воды. Вот она замахнулась — через голову, так никогда не закинуть камешек далеко. Кинула. Было видно, что фонтанчик воды поднялся метрах в десяти от берега.

— Последний сигнал, — продолжал Чаянов, — из Ярославля — показывает, насколько непрочно и опасно наше положение. Но мы, как и положено, спохватились только сейчас. Очевидно, надо было действовать уже после событий на Киевском вокзале в Москве.

— В мое время о таком и не слыхали, — сказал Победоносцев.

— В ваше время, коллега, — сказал Чаянов, — вообще ничего не происходило. Тем не менее вы умудрились подготовить падение империи.

— Если бы я был жив... — начал Победоносцев, а Клюкин передразнил его:

— Если бы я был жив...

— Вы, именно вы и довели страну, империю... — Победоносцев поднял к потолку желтый высохший палец.

Как в таком душа держится, подумал Лаврентий Павлович и чуть было не улыбнулся, что позволял себе очень редко. Вопрос о местонахождении души оставался дискуссионным.

— Вы лучше расскажите, какие проводили расчеты, — сказала Лариса. — И что нам грозит.

«Правильный вопрос. К делу. Если бы все случилось лет пятьдесят или сто назад, взял бы я эту бабу. Настоящая баба. По документам дворянка». Лаврентий Павлович предпочитал дворянок.

Он посмотрел на ту девушку, внизу на берегу.

Девушка подошла ближе к ресторану. Это лишнее. Непроверенным лицам приближение к ресторану «Приморский» не дозволялось. Наверное, ее сейчас увидят велосипедисты или кто-нибудь из охраны. Надо бы ее допросить — почему она оказалась здесь, на пустынном пляже, где ее спутник? И того охранника из внешнего оцепления надо допросить...

Занятый своими мыслями, Лаврентий Павлович упустил начало речи Чаянова, но он уже знал это начало. Не впервые разговариваем.

— Да погодите! — Эти слова относились к Победоносцеву, который не был способен по старости и изношенности многоного понять, но полагал себя мудрейшим, подобно кавказским старейшинам, давно выжившим из ума и потому очень удобным для экстремистов, которые под видом мудрости готовы вложить в их дряблые уста сумасшедшие лозунги.

Все зашикали на старца, и тот, ворча, замолк.

— Наверное, каждый из нас мечтал или, наоборот, боялся возможности возвратиться обратно — ожить, вылезти из ада, увидеть близких... Проходили годы, и эти желания посещали нас все реже. И не только потому, что наши близкие и даже просто помнившие нас люди ушли из жизни, но и потому, что мы не можем там жить. Изменилась наша кровь, изменились наши ткани... в это трудно поверить, но мы уже мертвцы. Если вернусь туда, откуда я родом, то через несколько часов или минут перестану существовать. Откройте гроб, в который не поступал воздух, и в первые моменты вы увидите черты лица покойного, словно он только что заснул, но в течение минут свежий воздух сделает свое страшное дело. Тело превращается в гнилую массу черной плоти...

— Господин профессор, я вас умоляю! — воскликнул Клюкин. — Хватит мне того, что я состою из плоти, смертной и непрочной, не повторяйте, что она отвратительна!

— Мы бесплотны, мой дорогой, — заметила Лариса. — Потому нам так хорошо.

— Не богохульствуйте! — прошептал Никифор.

Лаврентий Павлович смотрел на берег. Девица исчезла, но не уходила по берегу прочь — он бы заметил. Надо бы сейчас сбегать вниз, поглядеть, не подбираются ли чьи-то агенты к ресторану. Чьи-то агенты! Смешно звучит.

— Главное, — донесся до него ровный голос Чаянова, — что мы не можем вернуться. Никогда. Мы живем в запаянном гробу. И любой ветерок, любое движение воздуха для нас опасно.

Все посмотрели на море. Все знали, что веет ветерок. Ветерок нес в себе беспорядок и опасность.

— Мы — улица с односторонним движением. Это вообще свойственно смерти. Ты можешь попасть сюда, в Ад, ты никогда не сможешь вернуться. И если кто-то раскроет дверь между нами и миром, в котором мы жили раньше, то вошедшие сюда останутся живы, а живущие здесь умрут.

Чаянов сделал паузу.

— Что нам и грозит, — закончил он.

Все молчали, потому Победоносцев повторил свою фразу:

— В мое время ничего такого не было.

— Ах, что вы знаете! — воскликнула Лариса. — Может быть, этот мир как пузырь на воде — уже возникал и погибал. Все может быть.

— Нам неизвестно, — сказал Чаянов, — когда возникла преграда между миром обычным и нашим. Какой она была тысячу лет назад, как изменилась.

— Тогда не трать время даром, — буркнул Победоносцев.

Чаянов не услышал.

— Но мы можем проследить, какой эта преграда была триста, двести лет назад, сто лет назад.

— Ну только не триста. Трехсотлетних среди нас нет.

— Есть, — сказал Чаянов, — я их отыскал. И обнаружил различия между прежними временами и временем нынешним.

Лаврентий Павлович был недоволен. Оказывается, этот пижон Чаянов раскопал каких-то старцев, и Лаврентий Павлович не знал об этом. А он-то думал, что в его списках есть все ленинградцы. И многие за пределами столицы.

— Где эти люди? — спросила Лариса. — Мне любопытно.

— В обители, — ответил Чаянов. — Я отыскал лесную обитель. Там старцы и старицы.

— И мне не доложил? — рассердился Никифор. — Вот уж не ожидал от тебя, голубчик.

«Конечно, я слышал о сектах, о людях, что прячутся десятилетиями в пещерах, в лесу, полагая, что они обязаны отмолить свои или чьи-то еще грехи. Но не встречал. И не занимался ими специально», — сердито думал Берия.

— Это не мое дело — верующих считать, — ответил Чаянов. — Главное не в этом. Главное, что за подотчетное время вплоть до ближайших к нам лет никаких обратных контактов не было. То есть сюда, к нам, можно было попасть. От нас вернуться нельзя. И не было дыр в занавесе, что отделяет нас от нашего прошлого. Была как бы воронка, она могла возникнуть в любом месте. Ты мог попасть в нее. Но никогда бы не увидел обратного пути. А за последние годы все изменилось и меняется... тревожно меняется.

— Он прав, — сказал Клюкин.

— Я прибегну к обратному методу доказательства. Сперва сообщу вам, в чем причина перемен. А потом приведу примеры и доказательства.

Никто не стал возражать.

– Население Земли увеличивается катастрофически. Уже в начале века появился кризис перенаселения. На рубеже двадцатого века население насчитывало миллиард человек. К концу века, несмотря на две мировые войны, казни, репрессии и так далее, на Земле народилось уже пять миллиардов. В пять раз больше. А что это значит?

Чаянов обвел взором членов совета, не дождался ответа и продолжал:

– А это означает, что по крайней мере впятеро больше людей проникает к нам. Это значит, что существует очевидная корреляция между населением Земли в целом и нашим населением. Но я скажу больше. Мои подсчеты новых поступлений в наш мир доказывают, что прибавления в нашем семействе увеличились не в пять, а в десять раз. Потому что там, наверху, неуверенность в завтрашнем дне, страх перед концом света все растут... За сто лет в десять раз!

Чаянов ненадолго умолк, давая возможность коллегам охватить разумом его сообщение.

Первым опомнился Грацкий.

– Мои данные этого не подтверждают, – сообщил он. – Я провожу призыв в армию, и он не дает значительного увеличения.

– А кто в твою армию желает? – спросила Лариса, – Я подозреваю, что о ней за пределами Невского никто и не слышал.

– А наш парад в день Октябрьской революции? – спросил Грацкий. – А наш оркестр духовых инструментов? Я попросил бы вас не клеветать. Армия – это самое святое в отечестве.

– Люди возникают не только в Москве и Питере, – сказал Чаянов. – Они появляются и в лесных деревнях, и за Уральским хребтом. Главное, происходит так называемый демографический взрыв. А он ведет к изменению обстановки в нашем мире. Разрешите перейти к примерам?

– Давай, – сказал Берия. Он был недоволен тем, как уверенно Чаянов ведет заседание Политбюро. Слово «Политбюро» Берия давно относил к совету. Но вслух не произносил.

– Я ограничусь несколькими примерами, а вы уж решайте, опасны они или нет. Пример первый: несколько лет назад, уже на памяти всех здесь присутствующих, существовала так называемая Империя Киевского вокзала в Москве.

Присутствующие наклонили головы, все о ней знали.

– Одно из мелких образований, таких здесь десятки, – сказал Чаянов.

Все вновь согласились.

– Там был император.

– Ах, не надо меня смешить, – отмахнулась полной рукой Лариса.

– Люди предпочитают жить по привычным формулам. Чем существовать каждому как придется, в одиночку, они объединяются. Как капли жира. И вот у них есть император, жестокий тиран или вялый барин. Главное, что кто-то их угнетает.

Чаянов скрочил смешную гримасу – оттопырил нижнюю губу, закатил глаза – получилось тупое, покорное судьбе создание.

– Ваша любовь к крестьянству потешна, – сказал Грацкий. – В глубине души вы его презираете.

– Зачем же лезть в глубину моей души? Ищите ближе к поверхности.

– Мы ждем, – строго напомнил Лаврентий Павлович. – Мы собирались по серьезному делу.

– Берия, как всегда, прав. Недаром он стал знаменитым палачом, – сказала Лариса.

– Скажи спасибо, что ты до меня не дожила, – ответил Берия. – Я гарантирую тебе неземное наслаждение и мучительную смерть.

– Я продолжаю, – сказал Чаянов. – Или мы будем шутить, господа?

Чаянов знал, как неприятно Лаврентию Павловичу слышать это слово: «господин». Поэтому любил употреблять его. Чаянов пришел сюда в тридцатом году, подобно Гуревичу,

вырвавшись из мира пыток и смерти, который олицетворял для него Берия. Здесь трудно убить человека, люди становятся почти неуязвимыми. Иначе Чаянов придумал бы смерть для Берии. Он был мстителен. Ведь убили же Распутина. Здесь. Снова. Но это особый разговор и неприятные воспоминания.

– Этот идиот…

– Павел Первый, – подсказал Клюкин. – Я к нему съездить собирался. Любопытно.

– Павел даже устроил аутодафе, – сказал Чаянов. – Порой жег непокорных.

– Или неверных любовниц, – сказала Лариса.

– Вот с любовницами и возникла проблема, – продолжал Чаянов, – именно с ними.

Каким-то образом этот император наладил связь с Верхним миром.

– Мы же расследовали, – сказал Берия, – допрашивали людей. У него был слабоумный медиум. Преемник. Он чувствовал, где и когда в перемычке образуется отверстие. Этого медиума потом убили.

– Это было потом, – сказал Чаянов. – Но самое удивительное, что император наладил регулярный обмен с тем миром. Получал оттуда бананы и девочек. Так по крайней мере нам потом рассказали. Даже притащил оттуда какого-то певца, страшно богатого, но больного, чтобы он поджидал в нашем подвале, пока отыщут лекарство от его болезни.

– Какая-то чепуха, – сказал Грацкий. – Я гарантирую. Как ты можешь дождаться, если не можешь вернуться?

– А кто-то не хотел в это верить, – ответил Берия.

– Все это кончилось бунтом,войной, возмущением, гибелю императора. Мы посылали наших людей, они не вернулись.

– А где была та дыра? – спросила Лариса. – Где было это отверстие? Ведь они должны были пользоваться им регулярно.

– Правильный вопрос, – сказал Чаянов. – Точный вопрос. Ответа на него нет. А вот император погиб, но погибли и наши люди, которые старались следить за ним, хотя не погибли, очевидно, те агенты из Верхнего мира, которые проникли в Империю Киевского вокзала.

– И где они? – спросил Берия. Это был не вопрос, а продолжение спора. Чаянов был убежден, что некие молодые люди – даже их имена ему якобы были известны: Егор и Людмила – пришли из Верхнего мира не с помощью новогоднего желания, а через отверстие в перемычке. Понимаете разницу?

– Живыми на небо берут лишь праведников, – заметил Никифор.

– Именно они попали живыми в наше Чистилище, – сказал Чаянов.

– И вымерли вместе с нами, – заметила Лариса. – Стали тенями.

– Такова история первого прямого контакта, о котором нам известно, – продолжил Чаянов. – И учтите, мы не знаем, сколько всего людей переходили границу между нашими мирами. И сколько из них остались тут.

– И сколько мерзости и грязи приходит к нам из греховной каши, – добавил Никифор. – Прости меня, грешного.

– Мерзость и грязь, – согласился Победоносцев.

Берия смотрел, как волны накатывают на песок. Такого быть не могло. Они прожили здесь долго, они понимали, что им некуда деваться, и потому взяли на себя ответственность править этой пустынной страной. Но она погибала.

– Она погибает на глазах, – сказал Берия вслух.

– Что ты несешь? – спросил Клюкин.

– Ветер, – сказал Берия. – Здесь не может быть ветра.

– Почему?

– Потому что он может разогнать тучи, и обнаружится потолок, понимаешь, товарищ Клюкин?

– Недавно был другой случай, еще более тревожный, – сказал Чаянов, – потому что следы от него ведут к нашим коллегам. К ярославским сенаторам.

И хоть недавняя страшная история была всем известна, все замерли, ожидая рассказа.

Как дети, знающие наизусть страшную сказку, но готовые до смерти пугаться, когда слушают ее вновь.

– Группа сенаторов в Ярославле…

– Все сенаторы Ярославля, – поправил Никифор. Владыка был уже несколько месяцев глубоко оскорблен событиями в Ярославле.

– Все сенаторы Ярославля соблазнились, либо были соблазнены кем-то, использовать связь с Верхним миром в корыстных целях.

– Хуже, в святотатственных! – закричал вдруг Победоносцев.

Никто не ожидал от него такой вспышки. Получилась долгая пауза. Берия откашлялся.

– Давайте сегодня не будем судить сенаторов. Более важные проблемы стоят перед нами, – сказал Чаянов.

– Человек прав, – поддержал Чаянова Клюкин.

– Итак, – сказал Чаянов и поднял вверх руку, как на лекции, призывая к тишине. Он был ранним профессором, даже бородой обзавестись не успел, как его шлепнули. Или собирались шлепнуть. – Сенаторы придумали нечто, не поддающееся человеческому разумению. Томясь скучкой и всевластием, они нашли дыру в Верхний мир и наладили свободный переход купленных ими мерзавцев туда и обратно. Эти мерзавцы доставляли им солдат, бойцов, гладиаторов – как хотите, так и называйте, которым внушалось, что они находятся на настоящей войне. Они сражались насмерть на крытом стадионе, а сенаторы на верхней трибуне, невидимые снизу, делали ставки на солдат, на солдатиков, устроили тотализатор… Наконец кто-то из солдат не поддался гипнозу. И всех их перестрелял. А это все для нас означает… третий звонок.

– Третий звонок, – повторил Берия. Он был совершенно согласен с Чаяновым. – Еще несколько лет, еще несколько дыр, еще несколько контактов, черт знает сколько – и наш мир перестанет существовать.

– Мы знаем о случае в Ярославле, мы знаем о случае на Киевском вокзале в Москве, о трагедиях… и мы знаем, что еще полвека назад это было невозможно. К нам прет зараза, к нам идет гибель.

Это говорил не Чаянов. Он как бы передал право на заключительный аккорд старшему в роду.

То есть владыке Никифору.

Тот поднялся, но от этого не стал выше ростом.

– Господь замыслил наказать нас за прегрешения, за грехи, в которые мы впали даже здесь, в Чистилище. И нет нам прощения, если мы не возьмем в длань меч справедливости!

Закончив монолог, Никифор окинул взглядом аудиторию.

Никто на него не смотрел. Обернулись к Чаянову.

– Итак, – сказал Чаянов, – поток беженцев к нам расшатывает перемычку, истончает ее. Допускаю даже, что прочность ее имеет предел. Чем больше здесь людей, тем больше шансов, что среди нас плодятся без меры сумасшедшие, преступники, лица, желающие любой ценой восстановить связи со своим прошлым. Не исключено, что среди нас уже есть люди оттуда.

– Они есть, – сказал Берия. – Их цель – сломать перемычку. Одним это нужно, чтобы безнаказанно грабить, другим – ради бессмертия.

– Иллюзии бессмертия, – сказала Лариса Рейснер.

Берия посмотрел на берег.

Девушки не было видно. Где она спряталась? Охранник сидит все так же спиной к сосне. Почему? Сейчас же надо проверить.

— Мы обречены, — сказал Чаянов. — Прошу отнестись к этому трезво. Говорят, в Североамериканских Соединенных Штатах врачам велено честно рассказывать раковым больным, что они обречены, и даже сообщать, сколько им осталось жить на земле. Я, как американский врач, могу сказать, что жизнь нашего неладного, нелюбимого, но единственного для нас возможного мира исчисляется месяцами или даже днями. Если мы не примем мер, то не сегодня-завтра дыры в перемычке превратятся в ворота. Смертельный для нас воздух проникнет в наш мир, смертельные для нас люди, да простит господь их невежество, ибо они, вернее всего, погибнут в потопе, который вызовут, пройдут по нашим телам... Что потом?

— Все равно — что потом, — сказал Берия. — Но это не значит, что мы сдаемся. У нас есть план.

— Какой? — спросила Лариса.

— Пока о нем знают двое, — сказал Берия. — Чаянов и я. Кто будет третий, мы решим по мере его разработки.

— И все же вы обязаны намекнуть. Уж если скрываться от нас, — сказала обиженная Лариса, — то тогда некому доверять.

— Хорошо, намекни им, — сказал Берия. — А я должен кое-что проверить.

И он быстро пошел к выходу из зала.

— Наша цель, — сказал Чаянов за его спиной, — единственная возможная для нас цель — уничтожить Верхний мир.

— Как так? — Это голос Никифора.

— Как сделал Бог, послав на землю потоп, — ответил Чаянов. — Но мы не будем искать среди них праведника. Прошли времена праведников. И если мы не уничтожим людей там, наверху, завтра они ворвутся сюда, неизбежно ворвутся, и тогда погибнем мы.

Берия прошел мимо охранников, сидевших у лестницы, спустился по ней и вышел к велосипедистам, носильщикам и иной обслуге. Каждый из консультов имел свой штат обслуги. Самая роскошная карета у Клюкина — его лакеи одеты в красные ливреи.

Откуда пришли те двое? Куда делись? Зачем в этих краях кому-то гулять по берегу?

Берия спускался по лестнице не спеша, оглядываясь и пытаясь понять, где бы он устроил засаду, где бы затаился, если бы ему самому пришла в голову мысль выследить сенаторов и подслушать, о чем они тут рассуждают.

Вот здесь широкий ход в банкетный зал, уютный, но не имеющий такого славного вида на море, как основной, круглый. Он прилепился к круглому залу, как гондола к дирижаблю.

Лаврентий Павлович хорошо помнил полет дирижабля «Земля Советов» через Главный Кавказский хребет. Когда это было? В тридцать втором? Они встречали его на военном аэродроме под Тбилиси, большое было торжество и большое застолье. Капитан дирижабля... как его звали? Панкратьев? Его потом удалось отыскать и убить где-то в Аргентине. Этим занимался Судоплатов. Зонтик? Зонтик с иглой на конце? Как же фамилия его главного мастера по ядам? Могилевский? Могильный? Доктор наук, наверное, остался в институте. Не Менгеле... А Судоплатова похоронят с почестями... Дирижабль тогда поднялся: как красиво, как величественно — великое проявление человеческого духа! Лаврентий Павлович, что выгодно отличало его от обычных людей, умел одновременно думать в двух плоскостях. Люди же, неспособные на это, попадались в тенита, расставленные Лаврентием Павловичем. За видимым безразличием к окружающему миру он оставался его острым и настороженным наблюдателем. Многие здесь постепенно теряли интерес к жизни, лишенной ее земных атрибутов, физически опускались, что и приводило к исчезновению — не к смерти, а к исчезновению. Но Лаврентий Павлович полагал, что если судьба забросила его в дальнюю страну, значит, в этой стране требуется вождь. И требуется борьба.

За пятьдесят лет, проведенных в мертвом мире, он еще более укрепился в своем убеждении. Может быть, он не стал первым на этой Земле. Но одним из первых – да! И станет первым обязательно. Как только окончательно сковырнет своих ближайших соратников.

Пятьдесят лет... прошли ли они как один день? Нет, порой дни тянулись бесконечно, порой отчаяние охватывало его деятельную натуру, порой хотелось прервать эту цепь дней без ночи самоубийством.

«Пока существует тот, Верхний мир, не может быть полной власти в этом. Он всегда будет влиять на наши дела, вмешиваться и в конце концов подавит и поглотит нас».

Верхний мир должен быть уничтожен. В этом Лаврентий Павлович не сомневался.

И тут он увидел, что охранники ведут к нему девушку. Ту, что гуляла по берегу. Через два часа Берия уже допрашивал ее в Смольном, в кабинете Ильича.

– Имя?

– Людмила.

– Целиком. Имя, отчество, фамилия!

– Здесь это неважно.

– Мне важно.

– Людмила Тихонова.

– Меня ты знаешь?

– Я раньше думала, что вы давно вымерли. А оказывается, вы сюда пробрались. А вас что, должны были расстрелять? Я ведь читала, что вас расстреляли, Лаврентий Павлович.

– Значит, все-таки помнишь. Любопытно. И многие меня помнят?

– Больше по кино. Вы там страшнее, чем в жизни. В шляпе и маленьких очках.

– Чего плохого в моей шляпе? Тогда все так ходили.

– Как вам сказать... Ленин в кепке, Сталин – в фуражке. А вы в шляпе.

– Меня ставили рядом с ними?

– Нет, я в кино видела, там показано, что вы садист. Исполнитель.

– А ты не задумывалась, что это клевета?

– Почему? Рано еще.

– Почему рано? – удивился Берия.

– Еще многие живы, которые помнят, – сказала Люся, – или их родственники погибли. А когда они все вымрут, а другим станет все равно, тогда вы можете вернуться.

– А ты думаешь, что можно будет вернуться?

– Физически, чтобы жить, – нельзя. А чтобы побывать и поглядеть, как там жизнь идет, – я думаю, что это будет можно.

– Это твоя мечта или тут есть к этому основания?

Люся насторожилась. Берия не просто разговаривал. Он ее допрашивал. И хоть странно и необычно оказаться на допросе, в обычном кабинете из художественного фильма, откуда Ленин руководил взятием Зимнего дворца, Берия был смертельно серьезен, и самое, конечно, удивительное заключалось в том, что у него были основания ее допрашивать, а ей было что скрывать от него.

– Я надеюсь, что есть такие основания, – сказала Люся. – Мне бы хотелось.

– Почему?

– Надоело мне здесь ошиваться.

– А как вернуться, ты не знаешь?

– Не знаю. А вы знаете?

– Есть некоторые соображения. Тебе, думаю, тоже известные.

– Поделитесь?

– А ты хорошенъкая была.

– Я и сейчас хорошенъкая.
– Нет, у нас хорошенъкие быстро вянут. На тебе тоже видно. Тебе надо поспешить с возвращением.
– Поспешу, если смогу.
– И одной трудно. Нужна компания. Ты с кем была на пляже?
– Там был один мужчина, – честно призналась Люся, – он ко мне еще в поселке подошел. Очень приятный дядечка. Он здесь живет.
– Молодой? Старый?
– Здесь молодых нет.
– Ты – молодая.
– Я – исключение.
– И куда твой дядечка делся?
– А он сказал, что устал, и ушел к себе.
– Куда ушел?
– Ну не знаю я! Вы лучше вашего стукача спросите, который на пляже топтался. Он нас видел, даже разговаривал.
– Мы спросим, – сказал Лаврентий Павлович.

Он смотрел на Люсю и огорчался, потому что глазами мог ее раздеть и уложить рядом с собой, но в самом деле не чувствовал к этому склонности, позыва. Даже в камере ему очень хотелось, просто ночами просыпался от похабных образов, а сейчас знал, что ничего не получится. Он еще сорок—сорок пять лет назад пробовал себя и вынужден был сдаться. Это было невыносимо, и за это он тоже будет мстить тому миру, что остался наверху и наслаждается ночами в постелях. Когда ты лучше прочих знаешь о масштабах этого счастья, о его разнообразии, о том, что, пожалуй, нет ничего выше счастья соединиться с женщиной, тебе остается лишь власть и ненависть. И об этом никто не должен догадываться.

Лаврентий Павлович углубился в чтение бумажек на столе – они были разбросаны по зеленой поверхности как бы невзначай, как бы слетевшиеся к нему из окон или дверей и требующие внимания.

– Ну, я пошла? – спросила Люся.

Берия выдержал паузу. И только за тысячную долю секунды до того, как она повторила вопрос, он поднял глаза и уставился на Люсью карими маленькими внимательными глазами.

И увидел худенькую – или, может, худую? – девушку, совсем еще молодую, наверное, лет двадцати. Лицо у нее было простое, таких называют дворняжками – от слова «двор» или «дворня». Ее бабушка еще была просто крестьянкой, скуластой и курносой, мать уже обрела правильность фигуры, стройные ноги, небольшую грудь, бледность кожи – это происходило от недоедания, вечных недостач, может, и пьянства – крестьянская кровь осталась, но разбавилась городской водицей. А в дочке, в этой самой Люсе Тихоновой, все вспыхнуло совершенством красоты бедного квартала, может, арбатских дворов, а может, мытищинского общежития. И уже за пределами жизни Берии эти девочки вырастали шестифутовыми дылдами, из чего половина или две трети падало на стройные ноги.

А вырастали такие девушки в конце века, потому что на них пошел большой спрос – выросли двухметровые женихи и невысокие, но богатые пожилые толстяки, которые могли за них славно платить и держать их вочных клубах или на Канарских островах. А многие попадали в модели или просто в проститутки: везде в них была нужда. Вот и эта Людмила Тихонова, видно, была длинноногим заморышем, белой дворовой кошкой. А теперь она на две головы переросла Берию, и хорошо еще, что она ему не нужна, – а то даже в постели разница в габаритах будет ощущаться.

– Расскажи биографию, – потребовал Лаврентий Павлович.

Он отметил про себя, что раньше ее не встречал в мертвом времени. Значит, либо новая жертва, либо жила где-то в другом месте. Да и вообще молодых девушек здесь почти не бывает – молодые не могут так страстно желать чего-то, для этого требуется жизненный опыт. Молодые не умеют ценить собственную жизнь. Не могут цепляться за нее. Как можно цепляться за то, что не имеет великой ценности?

Волосы у девушки были русыми, обыкновенными, лицо – правильным, большелобым, чуть скуластым, ровно настолько, насколько нужно для шарма, нос чуть вздернут, губы великоваты для такого лица, но лишь чуть-чуть великоваты.

Совершенно не во вкусе Лаврентия Павловича, который любил пышных полногрудых блондинок, можно даже крашеных, такие его и возбуждали. Не такие палки, как эта.

И в то же время в ней что-то было...

– Я родилась в 1980 году, – сказала девушка. – Попала сюда, когда мне было двенадцать лет.

– Ребенком?

Это уже совсем немыслимо. Детей здесь не было.

– Мы бедно жили, – искренне сказала Людмила, – мать пила, у нее любовники. Я своего отца не знаю, но одного ее мужчину очень любила и на него надеялась. Ждала его под Новый год...

Она улыбнулась, вспомнив зал наверху в конце эскалатора на станции «Университет» в Москве. Как она смотрела на людей, поднимавшихся по эскалатору, и ждала – вот сейчас покажется голова Константина, и он будет улыбаться, завидев Люську: ты чего, малыш, на ночь глядя прибежала, снова мать гуляет? Хоть сам был тоже алкашом. Может, потому и не доехал под тот Новый год?

– Врешь, – сказал Лаврентий Павлович. – Врешь и не краснеешь.

– Почему? – Людмила даже не обиделась и не испугалась.

– Потому что если тебе было двенадцать лет, тебе бы и осталось двенадцать лет. Не думай, что перед тобой недоноски сидят.

Вдруг Лаврентий Павлович испытал странное, давно забытое чувство – он захотел избить ее так, чтобы она кричала и просила о пощаде, и потом овладеть этой девушкой... неужели такое счастье возможно? Неужели с ней он сможет?

И пролетело это чувство, и исчезло. Вернулась уверенность в том, что все это в прошлом.

«Надо будет подождать, – сказал он себе. – И если что-то получится, почувствую – надо быстро действовать».

– Правильно, – сказала Людмила. – Я тут два раза побывала.

– Что? – Берия вцепился в край стола, чтобы не вскочить и не выдать своего изумления. – Ты... снова вернулась?

– Странно, что вы не слышали об этом. Здесь народу не так много, а вы тогда уже здесь были, – сказала девушка. – Я думала, все знают.

Он в самом деле что-то слышал об этом. Давно. Но что? Опять подводит память – она должна быть безукоризненной, и все должны об этом знать.

– Я недолго здесь пробыла. Несколько дней. Еще не успела заразиться... ведь можно до недели. Вы же знаете.

– Знаю.

– А потом мне удалось бежать. Вернее, меня отпустили. Меня отпустил император Киевского вокзала в Москве. Неужели вы и о нем ничего не знаете?

– Знаю, знаю! – Берия вспомнил. – Так это тебя он вернул через шесть лет, чтобы жениться? Он думал, что сможет жениться, идиот!

— Это я была, — призналась Людмила, — меня украли и притащили сюда, это была плата одного человека за то, что ему дадут тут место... не обычным путем, не под Новый год — а через дырку...

— Да, через дырку, и это самое ужасное, — вздохнул Лаврентий Павлович. — Мы здесь погибнем из-за этих дыр. Тебе известно, что через них просачивается смертельная для нас субстанция?

— Нет, я не слышала.

— Я покажу, я обязательно покажу.

Лаврентий Павлович поднялся со стула и пошел по кабинету. Он подошел к окну. «Когда-то в это окно смотрел сам Владимир Ильич. А в то время уже существовал наш мир... как бы у него под ногами. Наверное, когда заболел, он был бы рад сюда уйти, но не догадался. Вот гений, а не догадался. А жаль — мы бы с ним вдвоем тут славно поработали. Как мне не хватает рядом умного, решительного человека. Ведь остальные — сортище неполноценных уродов».

А с этой девицей все выходило как нельзя лучше. В смысле, что он правильно на нее вышел. Интуиция сработала. «Нас, старых ищеек, не проведешь. Конечно, она уже бывала в своем времени, вернулась, снова ушла. И я должен всему этому верить? Да она же камикадзе, она пожертвовала собой, чтобы держать нас под контролем... а вдруг не пожертвовала? А вдруг есть способ оставаться здоровым? И она, эта Людмила Тихонова, — член заговора, полна живой кровью?»

— А как у тебя с половой жизнью? — неожиданно спросил Лаврентий Павлович.

— Так же, как у вас.

— Не употребляешь?

— Мы мертвцы, — сказала Людмила.

— Про Александра Матросова помнишь? — спросил Берия.

— И про Муция Сцеволу, — сказала девушка.

Про Муция Сцеволу Лаврентий Павлович не слышал. Потому ее слова как бы не услышал.

— Некоторые, — сказал он, — жертвуют собой ради работы. Мне это понятно. Я таких людей уважаю. Разведчик всегда уважает настоящего разведчика.

Он с ожиданием впился в нее очками.

— Вы ошибаетесь, Лаврентий Павлович, — нет здесь шпионов сверху. По крайней мере я таких не видела.

— А почему?

— Я думаю, что невозможно, — сказала Людмила, — никто там не верит, что мы живы. А дырки если возникают, то они, как я понимаю, непостоянные. Не уловишь...

— А как же у императора Киевского вокзала дырка была?

— У него был особенный человек, в кресле. Я его видела. Он чувствовал, когда и как образуется дыра. Его убили.

— Правильно, — согласился Берия. — А в остальном ты сделала ошибку.

— Какую ошибку? — Тонкими дугами высокие брови поползли наверх, к краю волос. — Я сделала ошибку?

— Лучше бы настаивала на одной версии, — сказал Лаврентий Павлович. Он говорил поучительно, заботливо. Как с собственным агентом, которого готовил к серьезной операции. — Стояла бы на своем, и я бы в конце концов тебе поверил, что глаза обманули старика. А ты сначала сказала, что была одна, а потом плохо придумала местного жителя. А здесь нет местных жителей. Это проверено.

Люся смотрела мимо него, не отвечала.

— По твоим реакциям я все понимаю, — усмехнулся Лаврентий Павлович, — ты сейчас в тупике.

Люся пожала узкими плечами. Упрямилась.

– Жаль, ты мне нравишься, – сказал Берия. – И я сначала просто хотел проверить, не подозревал ничего серьезного. Но интуиция меня не подвела. Тут все очень серьезно. Кому-то важно было знать, о чем мы говорили? Враги у нас могут быть двоякого рода. Или внутренние враги, скажем, какая-то организация в Ленинграде. Сейчас такой организации я не знаю. Была группа интеллигентии – мы ее разогнали… Или не разогнали?

У него была манера: говорить, говорить, а потом прервет поток речи и задает неожиданный вопрос.

– Не знаю, – сказала Люся.

Может, и в самом деле не знает?

– Тогда остается враг внешний. Вот это серьезно, потому что сегодня совет заседал именно для того, чтобы выяснить вопросы, касающиеся внешней опасности. Вопросы секретные. И тут появляешься ты, с неизвестным мужиком, с твоей загадочной биографией. Ну что бы ты стала делать на моем месте?

– Отпустила бы меня, – сказала девушки.

– Зачем? Кто тебя ждет? Что тебя ждет? Нет, я тебя не отпущу. Я сначала попытаюсь узнать о тебе все, что можно. Я ведь не один, у меня есть агентура. Есть и список жителей Ленинграда. Могу затребовать список из Москвы. Так что я твоего мужика найду. А ты пока посиди у меня, благо пиши не просиши. Или тебе надо пишу подавать?

Лаврентий Павлович ждал ответа с нетерпением – от него многое зависело. Потому что, когда больной узнает о том, что кто-то вылечился от его безнадежной болезни, в нем просыпается надежда касательно самого себя.

– Меня не надо кормить. – Люся чуть улыбнулась, потому что догадалась о цели вопроса.

Лаврентий Павлович подошел к двери, открыл ее, там в белом коридоре стоял охранник.

– Здесь есть надежное место спрятать ее или надо везти на Литейный? – спросил он.

Вопрос был ритуальный. На Литейном никого не было. Дом НКВД пустовал, не хватало людей, чтобы его поддерживать в боевой форме. Да и не было дел – как ни придумывай, слишком мало здесь населения и слишком мало это население желает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.